ISSN 0131–0097

ОГОНЁК

№ 21 МАЙ 1990



ПОСЛЕ УРОКОВ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Учрежден 1 апреля 1923 года

№ 21 (3279)

19 — 26 мая

ИЗДАТЕЛЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС «ПРАВДА»

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Школа в Чернобыльской зоне.
Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

Оформление А. А. КОВАЛЕВА
при участии Т. А. НОВРУЗОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп.,
на полгода — 10 руб. 38 коп.,
на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 25.04.90. Подписано к печати 15.05.90. А 09446. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 4 600 000 экз. Заказ № 2232. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Внутренней политики и оперативного анализа — 212-15-39; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Интервью народного депутата РСФСР, политического обозревателя Центрального телевидения Александра ТИХОМИРОВА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КАДРА

да

нет



— Мы беседуем с вами в канун первого съезда народных депутатов РСФСР. Вы были избраны большинством голосов, но в то же время исчезли с телеэкрана. Слышал уже, что вас уволили, исключили из партии. И к тому же вы попали под машину...

— Не только я, а и вся передача «7 дней» с другими ее авторами. Под "асфальтовый каток» той самой командной системы, в рамках которой продолжает существовать телевидение. Что касается партийности, то я по-прежнему член КПСС. Больше того, коллективы нескольких редакций Гостелерадио выдвигали меня кандидатом в делегаты XXVIII съезда. И с должности не уволен. Вот только в работе над передачей «7 дней» отказано наотрез.

— Группа журналистов, создававших эту передачу, сообщила недавно через «Аргументы и факты», что не считает возможным над ней работать именно в связи с вашим отстранением.

— Я благодарен моим товарищам за солидарность. Испытываю чувство вины перед ними: из-за меня ведь в значительной мере прикрыта была программа, придуманная всеми вместе и завоевавшая в короткий срок зрителя. Но, с другой стороны, каждый из членов творческой группы понимает: дело не только в оценке личностного подхода одного из ведущих к передаваемому в эфир материалу. Речь идет о праве ведущих вообще высказывать собственную точку зрения на события, отраженные в эфире.

— Судя по результатам опроса общественного мнения, «7 дней» по количеству постоянных зрителей соперничала даже с «До и после полуночи». Главная причина успеха, по мнению социологов,— ведущие, у которых есть собственная точка зрения.

— Согласен полностью. Тот, кому нечего сказать, вообще не должен появляться на экране. Тем более тот, кто пытается чужое мнение выдавать за свое. На телеэкране, как на промокашке, тут же проступает любая ложь... В этом смысле действительно самый высокий индекс популярности завоевали в последнее время передачи, в которых проявляется смелая, независимая позиция авторов. Мы ведь и объявляли в «7 днях» с самого начала, что будем показывать жизнь такой, какая она есть. И говорить будем то, что мы о ней думаем.

— Выходит, те, кто закрыл вашу передачу, думают о сегодняшней жизни в стране и за рубежом иначе?

— Выходит. Нас обвинили в необъективном отражении сегодняшней действительности. И поводом для разговора послужила передача от 28 января этого года, ведущим которой был я. В эфир она прошла в воскресенье, а вскоре на заседании Политбюро ЦК КПСС (так объявлено было нам председателем Гостелерадио М. Ф. Ненашевым) по множеству позиций «7 дней» подвергалась резкой критике. Не знаю, там ли решался вопрос о дальнейшем моем участии в этой программе, но решался он, убежден, с учетом мнения такого высокого заседания.

— У меня тоже складывалась подобная ситуация в жизни. И, думаю, вы со мной согласитесь: не очень-то уютно чувствует себя журналист, которому отказано в доверии на таком высочайшем уровне.

— Не очень. Но я ведь и не сомневался в том, что многие сюжеты и комментарии той передачи, как, кстати, и предыдущих, могут не понравиться некоторым из членов и кандидатов в члены Политбюро. В этой группе телезрителей, как и во всех других, несомненно, соседствуют разные мнения, порой, быть может, противоположные — и не только по поводу передач. И хотя М. Ф. Ненашев утверждает, что те «7 дней» осуждены были единогласно, я в это не очень верю.

— Почему же?

— А давайте вспомним, о чем там шла речь. И сопоставим с сегодняшним днем...

Первое. Продолжая тему, поднятую в предыдущей передаче, я вновь обратил внимание зрителей на то, что пора

уже, на фоне широкого разговора о развитии внутрипартийной демократии, приступить к практике опубликования текстов выступлений на Пленумах ЦК КПСС. Подчеркнул: мы вправе именно сегодня, в критический момент перестройки, знать, на какой из позиций стоит тот или иной из членов ЦК. Чтобы пресечь всякие слухи... Могли ли на том заседании все единогласно осудить такую постановку вопроса?

Второе. На встречах избирателей с кандидатами в депутаты, которые проходили в те дни по всей стране, сквозным был такой из вопросов: почему без предварительного обсуждения с рядовыми коммунистами проведено значительное повышение окладов работникам партийного аппарата? Этот вопрос прозвучал и в передаче. Могли ли на том заседании все отрицать его правомерность?

Третье. Значительная часть передачи «7 дней» была посвящена кровавым событиям в Азербайджане. В Москве накануне прошел митинг, связанный с вводом войск в Баку. Мой стол в редакции был завален сотнями телеграмм-запросов: почему так односторонне дается информация о бакинских событиях? Почему не сообщают, что погибли в столкновениях не только солдаты и боевики, но и женщины и дети? Так неужели же все на том заседании, памятуя недавний разбор тбилисских событий, сочли неприемлемыми предложения, прозвучавшие в передаче и основанные на желании миллионов людей? А именно: пусть дана будет четкая политическая оценка событиям, происшедшим в Азербайджане; сообщено поэтапно о мерах по ликвидации их последствий, названы сроки вывода войск.

Четвертое...

— Извините, прерву... Вы хотите, кажется, провести детальный разбор своей передачи. Я достаточно отчетливо помню ее, и мне действительно думается, что теперь, по прошествии трех месяцев, многое из того, о чем говорилось тогда, получило уже подтверждение и развитие и даже утратило злободневность в какой-то мере, так сказать, ушло за горизонт...

— Да, но тем обиднее ощущать себя виновным в грехах, которых не было...

— Извините еще раз. Я знаю, что вас обвиняли еще и в саморекламе, поскольку, баллотируясь в народные депутаты России, вы продолжали работать в эфире и даже давали репортажи из того округа, где должны были избираться.

— Было однажды. В самом начале предвыборной кампании — репортаж из Коломны именно в той самой передаче... В оправдание хочу сказать только, что ни разу после этого до окончания второго тура выборов в эфире больше не был. Кстати, не во всем согласен с теми, кто говорит, что профессия журналиста, тем более телевизионщика, дает великое преимущество в предвыборной борьбе. Да, я был известен большему количеству избирателей, чем мои конкуренты. Но и количество недоброжелателей уже на старте было у меня больше. Тех, кто не приемлет либо мою позицию в передачах, либо мой образ ведущего.

— И много ли таких оказалось в результате?

— 31 процент от числа тех, кто пришел голосовать во втором туре. Хотя, думаю, есть среди них и такие, кто, не имея ничего против меня, отдал голос моему конкуренту в силу разных причин.

— Интересно, как вы считаете: отдали бы за вас голоса 69 процентов, если бы к моменту голосования было уже известно, что Политбюро вам отказало в доверии? Или число ваших сторонников поуменьшилось бы? Ведь многие воспринимают вас не только как ведущего той, если можно так выразиться, нашумевшей передачи, но и как тележурналиста, сопровождавшего в последние годы в поездках первых лиц государства.

— Трудно сказать... Вряд ли, думаю, именно такой критерий в оценке кандидата был решающим: играет он в команде Горбачева или против. Помните ведь вопрос, не раз уже звучавший с трибуны Съезда народных депутатов СССР и в печати: с кем вы, Михаил Сергеевич? Сам Президент считает этот вопрос бестактным. Не знаю его мнение обо мне, не знаю даже, есть ли у него такое мнение, но сам я до последнего времени причислял себя к его команде. Отстаивал его линию и в поездках по стране, за рубежом и в «7 днях». Причем временами казалось, что мой долг защитить его телевизионный образ не только от его противников, но и от его помощников.

— Каким же образом? Почему?

— В зарубежных поездках, скажем. Считал и до сих пор считаю, что немыслимо показывать по телевидению в таком объеме все протокольные встречи и приемы, всю их помпезность и пышность. В Италии, например, буквально кожей ощущал раздражение, которое должны вызывать у нашего зрителя белоснежные султаны на касках гвардейцев и все эти торжества на фоне Рима, залитого солнцем. Представьте себе: перед телевизором сидят и пьют чай — пустой, потому что кончились талоны на сахар,— наши люди, вновь испытавшие за день всю неустроенность и нищету нашего быта. А в это время на экране — обед с торжественными речами. И очень не просто было доказывать нашим кураторам в вопросах освещения этих визитов, что надо сокращаться в показе таких репортажей.

— Тот вопрос, заданный вами в Риме, на который очень многие обратили внимание, именно этими вашими соображениями был продиктован? Я имею в виду момент, когда Президент сделал вам замечание...

— Да, я счел необходимым задать его в противовес всей немыслимой красивости предыдущих наших репортажей. Возле виллы Мадама, официальной резиденции итальянского правительства, спросил у Михаила Сергеевича: "Те люди, которые смотрят эти передачи в Союзе, вправе, наверное, поинтересоваться — что лично им, их семьям дадут эти встречи в Италии?»

— Мне говорили многие из знакомых, что им показалось, будто Михаил Сергеевич обиделся.

— Ерунда. Ничуть не сомневаюсь, что тогда уже Горбачев предполагал возможность ситуации, когда консерваторы будут ставить ему в вину его ошеломляющую популярность на Западе, что и случилось вскоре на очередном Пленуме ЦК КПСС. Там, на вилле Мадама, он не преминул, правда, подчеркнуть, что наши люди понимают смысл его поездок много шире того, который я вложил в свой вопрос. Но я-то говорил не об узости мышления наших людей, а о специфике восприятия телеинформации! Потому что, к сожалению, то, что подается с экрана с благими намерениями, очень часто имеет обратный результат.

— Не случилось ли то же самое и с передачей «7 дней»?

— Если говорить о подавляющем большинстве телезрителей, то нет. Только два процента из тысяч опрошенных высказались за возвращение программы «Время» по воскресеньям. Остальные считают передачу нужной, отражающей истинное положение дел. Но поскольку к вышеназванным двум процентам примыкают и участники того заседания — некоторые из них, повторяю,— то, как это обычно водится у нас, их мнение перевесило.

— Ну, что ж, мы ведь убедились в последнее время в процессе развития демократии, что и мнение меньшинства должно учитываться, что часто именно оно является верным...

— Вы это всерьез? Если шутите, то и я пошучу. Мы, возможно, и смогли бы достигнуть консенсуса с этим самым «меньшинством», если бы оно пожелало разговаривать с нами. Приглашения к разговору, однако, не было. Было решение о возврате программы «Время» по воскресеньям. Хотя в основе его, я убежден, не только политические мотивы, но и приверженность к стереотипам, на которые мы посягнули. Что я имею в виду? Программа «Время» всегда была чрезвычайно официальной. Даже заставка ее такова — будто дикторы въезжают в дома телезрителей прямо из-за звезд Кремля. Так что естественным было считать: то, что говорится,— это мнение руководства страны.

И вдруг в воскресенье, в 21 час, появляются Сагалаев, Тихомиров, Крутов, Слипченко. Здравствуйте! И в канву развернутых сюжетов о событиях недели начинают вплетать свои ощущения, свои взгляды. Передача подводила как бы итог недели. А события на неделе, сами знаете, какие у нас бывают. Сконцентрировавшись в одной программе, они впечатляли, открывали суровую, но правдивую картину нашей действительности.

Признаться, у меня тоже просыпается порой ностальгия по тем, пронизанным оптимизмом сюжетам прежней программы «Время». Ползут комбайны, бьют нефтяные фонтаны... И, работая над передачей «7 дней», сам искал постоянно ростки нового, позитивного, положительных героев. Но удивительное дело! Как только находил, сразу выяснялось, что есть силы, которые торопятся их растоптать, оклеветать, уничтожить. Конечно же, в воскресенье вечером хотелось бы увидеть как можно больше утешительного. Но оглянемся — много ли вокруг такого пока?

Один из давних моих друзей, генеральный директор агропромкомбината, самого благополучного, пожалуй, в стране, рассказывал: «Вызывает меня секретарь ЦК по селу. Час держит, другой — все выспрашивает. Как, мол, с этим у тебя обстоят дела? Хорошо. А с этим? Нормально, говорю. Так что — вообще проблем нет? Есть, отвечаю, одна: тары не хватает. Что паковать — есть, а вот во что — нет. Обрадовался он и еще час меня держал. А потом опять вызвал — и опять держал. Как думаешь — зачем?»

Долго мы с директором ломали голову, пока не догадались: отдыхал секретарь, положительными эмоциями насыщался. Он теперь на пенсии. А в сельском хозяйстве все по-прежнему.

— Но неужели же вы всерьез считаете, что лишь телезрительские эмоции преобладали у тех, кто принял решение о закрытии передачи, о вашем отстранении?

— Нет, конечно. Я постоянно об этом думаю и пришел вот еще к какому выводу. Было время, когда на ТВ и радио шла жесточайшая борьба с персонификацией журналистов. В 1969 году комитет возглавил С. Г. Лапин, и тут же многие ведущие популярных передач были отодвинуты. Юрий Фокин, к примеру, известный тогда каждому, или Андрей Золотов — комментатор по вопросам искусства. Телерепортеры информационных передач также исчезли с экрана: лишь в момент интервью виднелись в кадре наши затылки и уши. Мы превратились в подставку для микрофона. Не сразу поняли мы, что это не причуды нового председателя, а продуманная акция: ведь накануне популярные ведущие чехословацкого телевидения не последнюю роль играли в событиях «пражской весны». И нейтрализовать их оказалось крайне трудным делом — народ им верил...

Применительно к нашим условиям, конечно, та акция была обычной перестраховкой. Но она сделала свое в процессе подмораживания хрущевской «оттепели». Телевидение стало обкатанным, послушным, подобострастным даже в исполнении прихотей тогдашнего руководства. «Гениальный продолжатель» был главным его героем — смешно и жутко вспоминать спектакли очередных награждений и другие сцены, показанные нам из залов Кремля...

Но и уровень доверия к ТВ приблизился к нулю. На экране было одно, в жизни — другое. И я готов спорить с кем угодно, что «ящик» все эти годы работал против тех, кто таким образом управлял телевидением. Он мстил за вранье, которым его насиловали. В абсурд, в анекдот превращал идеи, которые через него нагнетали.

Неужели до сих пор не ясно кому-то, что доверие к телевидению можно вернуть только через персонификацию — через авторитет ведущих, с которыми регулярно общаются телезрители, хотя и в одностороннем порядке? И неужели не ясно, что доверять начинают лишь тем, в ком чувствуют самостоятельность мышления, независимость и, если хотите, выстраданность позиции?

— В каком же смысле выстраданность?

— А вот в каком смысле. М. Ф. Ненашев в последней нашей с ним беседе задал вопрос, как показалось мне, обобщающий смысл всей ситуации: «Вы ведь не сможете измениться?» И, заглянув в себя, я ответил: «Нет». И он сказал: «Ну, вот, видите...»

И за этим открылась как бы вся безнадежность его попыток найти компромисс, который позволил бы ему вновь допустить меня к ведению передачи «7 дней», а меня обязал бы придерживать язык в комментариях по самым острым проблемам.

Да, это был бы компромисс, но абсолютно не на равных. Я понимаю, конечно, что ему приходится иногда говорить и делать что-то против своих убеждений, но он делает это за кадром, у себя в кабинете или где-то еще. А мне пришлось бы делать это в кадре, на виду у миллионов людей.

— И вы никогда не делали такого за все годы работы на телевидении?

— Я ведь занимался до 1985 года освещением космической темы. В условиях тогдашней сплошной секретности приходилось говорить и полуправду. И у меня был девиз: «Если можно не врать, то лучше не врать». Вспоминаются иногда моменты передач, за которые сегодня стыдновато. Но я тогда действительно так считал. Это мое тогдашнее убеждение. И у меня не было имени на ТВ. А теперь какое-никакое, но есть. Быть может, кому-то это и трудно понять, но когда Молчанов, Невзоров, ведущие «Взгляда» или другие мои коллеги идут на конфликт с руководством — это не из-за личных амбиций, не звездная болезнь. Это физическая почти невозможность «прогибаться».

— А объективность?

— Да, вот именно отсутствие объективности, равновзвешенности нам и ставят в вину. Но все время напоминают при этом, что поскольку Гостелерадио — одно из подразделений Совета Министров, то оно и должно отражать интересы государства, то бишь правительства. Какая же здесь объективность? Это то же самое, как если бы машиностроительные отрасли работали не на экономику, а только на аппарат Совмина — производили скрепки, кресла, подставки для телефонов... Выходит, мы обязаны воздерживаться от критической оценки тех или иных решений, принимаемых правительством? Колебаться вместе с линией, проводимой им?

Извините, что вновь беспокоюсь о собственном «имидже», но как бы я выглядел в глазах телезрителей, если бы в той самой январской передаче не подвергал сомнению, а пел дифирамбы правительственной программе по оздоровлению экономики, которая оказалась, мягко говоря, несостоятельной уже в апреле? Или не бил тревогу по поводу замалчивания в «инстанциях» альтернативных проектов закона о налогообложении прибыли предприятий, идеи которых теперь, слава богу, обсуждаются в Верховном Совете? Да, телевидение у нас государственное. Но оно существует на деньги налогоплательщиков и должно в конечном счете отражать их интересы. Должно! Но пока, с момента своего рождения, работало не на миллионы — его политические программы, во всяком случае,— а обслуживало несколько десятков, может быть, сотен руководителей. И это продолжается сегодня.

— Давайте не будем наивными или, наоборот, лукавыми, поскольку я убежден, что вы знаете то же, что и я: во всем мире телевидение обслуживает ту или иную группу политиков. И контролируется ими. У нас такая группа одна.

— Нет, не одна. Именно поэтому сегодня идет борьба за телевидение. Не

внутри него, а вокруг! То, что внутри,— это только отражение того, что извне. Не только видимая, шумная борьба вроде «захвата» телецентра ленинградскими депутатами или шагов, которые предпринимает Моссовет, но и тайная, тихая, телефонная в том числе. Ох, давно уже нет единомыслия, а значит, и единозвония даже на Старой площади, где сидели и продолжают сидеть главные наши абоненты! Сам, случалось, бывал свидетелем, когда команды, оттуда исходящие, были... как бы поточнее выразиться? Взаимоуничтожающими...

Поскольку мнение телезрителей учитывается в последнюю очередь, объективность и равновзвешенность комитетское наше начальство понимает, очевидно, как некое сбалансированное отражение сегодняшних интересов разных групп, скажем, в руководстве ЦК. Нужно так пройти по проволоке, чтобы не обидеть ни одну из них. Потому что эта структура, считается у нас,— монолит. Посягнул на часть — значит, посягнул на целое.

Но как можно найти баланс, если оттуда одновременно исходят призывы к разгрому кооперации и к форсированному переходу на рыночные отношения в экономике? К широкой внутрипартийной дискуссии и очищению рядов от тех, кто не подтвердил верности объявленной на Пленуме платформе? Сегодня разделять точку зрения одну, а завтра — противостоящую? Или и ту и другую сразу?

— Да, трудное у вас положение, у ведущих телепрограмм.

— Благодарю за сочувствие. Действительно, с ума можно сойти, если главный упор в работе делать не на собственную интуицию, собственный опыт и представления о жизни, если идти на поводу у разного рода телевременщиков. Но у нас мало, как видно, шансов при этом сохранить возможность заниматься своим любимым делом. Мне кажется, при том отношении к телевидению со стороны высшего руководства, которое есть сегодня, неминуема ситуация 1969 года, о которой я говорил. Телевидение уже готовятся обкатать, сделать податливым и послушным. В недрах нашего комитета уже бродят проекты соответствующей реорганизации. Из главных редакций созданы будут хозрасчетные творческие объединения — производители телепередач. А единственным покупателем станет Генеральная дирекция программ: захочет — купит, не захочет — не купит. Такие передачи, как сегодняшний «Взгляд» или наша «7 дней», убежден, покупать не будет. Вот такие перспективы...

— У нас, работающих в прессе, это решается довольно просто: если «Огонек» не опубликует статью по каким-то мотивам, я вправе передать статью в другое издание.

— Вот именно. А телевидение — одно. Вы можете в конечном счете и работу найти в другом издании. Уйти, допустим, в «Советскую Россию»...

— Я бы очень подумал...

— Да, понимаю, нынче газета эта своеобразного толка... Но вот, кстати, подтверждение тому, что в печати сегодня существует широчайший разброс позиций. «Советская Россия» отражает мнение совершенно определенной, консервативно настроенной, на мой взгляд, части людей. И это, считаю, неотъемлемое право редакции. Ваш журнал придерживается иных взглядов. Не знаю, есть ли уравновешенность между изданиями правого и левого толка, но плюрализм есть. А телевидение должно придерживаться мнения центра? Но ведь центр тогда только и может быть обозначен как центр, когда видны и левое, и правое крыло!

— Вы тяготеете к левому...

— Да, но в противовес тем, кто тяготеет к правому.

— А кто у вас тяготеет к правому?

— Трудно сказать. В разговорах все ужасные радикалы. Но посмотрите внимательно большинство информационных и общественно-политических программ, проанализируйте потом общее от них впечатление. Оно, на мой взгляд, довольно тяжелое. Потому что куски жизни прорываются все же на экран — беспощадные зачастую в своей правдивости. Но авторская трактовка этих сюжетов рыхлая, беззубая, как правило, из-за попыток одно понятие подменить другим. Распад стараются выдать за обновление...

— В этом и есть, на ваш взгляд, «правизна»?

— Да, главный метод борьбы консервативных сил сегодня — это подмена понятий. Как если бы отдернуть штору поутру — и увидеть луну и звезды на черном небе. И не сразу разберешься, что все это нарисовано на оконном стекле... Так и в разговорах сегодняшних, что если партия обновится, то все будет хорошо, заживем тогда. И бесконечные дискуссии на эту тему, и предложения — как все-таки правильнее строить социализм... А за окном-то — утро хмурое, хмурее не придумаешь. И народ безмолвствует — самая огромная его часть... Полностью согласен с Николаем Травкиным, с его репликой, опубликованной в вашем журнале: «Хватит спасать партию, надо спасать страну». И в этом плане я и дальше готов идти за Горбачевым, всерьез, как мне кажется, объявившим форсированный переход к рынку. И защищать эту его линию от тех, кто готов гражданскую войну развязать, лишь бы сохранить власть, такую именно партию, которая в течение десятилетий обеспечивала им возможность существовать безбедно, командовать, ни за что практически не отвечая.

— Ну вот, опять никакой равновзвешенности. Я читал не так давно в передовице «Правды» о двух ведущих программы «7 дней». Один, по мнению автора, стремится примирить, консолидировать граждан, другой — вызвать ненависть и озлобление. В каком из них вы узнаете себя?

— Поскольку фамилии в статье не названы, я мог бы прикинуться и «хорошим» ведущим. Но все равно не поверите... Что ж, у нас у всех действительно разный стиль работы в эфире. И передачи получаются разные.

У меня, скажем, больше крен в экономику. И, быть может, в подходе к этим темам выгляжу я несколько агрессивным. Но вы заметили, быть может, что к проблеме, затронутой однажды, я возвращаюсь в последующих передачах — отслеживаю конфликт до его разрешения. И разговор, хоть и резким он получается, стараюсь вести предметно. А теперь приведу фрагмент интервью, которое дал одной из московских газет заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС П. Я. Слезко:

«Меня очень тревожит усиливающаяся поддержка прессой лиц, пытающихся любыми способами безоговорочно утвердить свое право на сверхдоходы, зачастую просто не заработанные или даже полученные неправедным путем. Вот вам конкретный пример. Защищая перед многомиллионной аудиторией «обиженных» финорганами кооператоров, известный телекомментатор А. Тихомиров в качестве аргументов в пользу своих подзащитных приводит довод о том, что, став кооператорами, энергичные ребята сразу же вдвое повысили производительность труда (что, конечно, очень хорошо). Но деликатно умалчивает о том, что при этом оплата их труда увеличилась в 6 раз. Больше того, месячная зарплата председателя скромного кооператива только в два с лишним раза превышает должностной оклад Председателя Совета Министров СССР. Ну скажите, как все это объяснить человеку, получающему свою зарплату только на основе действующих расценок? Трудно поверить, будто маститому журналисту невдомек, что безапелляционно защищаемая им модель стимулирования роста производительности труда порочна в своей основе. Разве ему не видно, что она стремительно раскручивает спираль инфляции? А если он все отлично понимает, но тем не менее пропагандирует такой путь, то что это? Издержки непомерного самомнения в сочетании с уверенностью в безнаказанности за злоупотребление ответственной должностью телекомментатора или точно исполненный заинтересованными в сохранении «статус-кво» кооператорами социальный заказ? Как бы там ни было, но пока еще телевидение остается государственным, подчеркиваю это, а не частным».

Извините за столь долгое цитирование, но здесь, я берусь это утверждать, в классическом виде сокрыт тот самый механизм подмены понятий, используемый консерваторами, в том числе и с целью разжигания ненависти к кооператорам, недоверия к новым, эффективным формам хозяйствования.

Речь идет об истории Красноярского и других дрожжевых заводов — крайне убыточных предприятий, которые реорганизованы были в кооперативы, работающие на аренде, и меньше чем за полгода завалили дефицитными дрожжами свои регионы, реализуя, обратите внимание, свою продукцию строго по государственной цене.

Да, был момент, когда зарплата увеличилась в 6 раз, в Красноярске. Но, во-первых, вместо 150 человек по штатному расписанию работало 49 — один за трех. Во-вторых, производительность действительно выросла вдвое. В-третьих, это вовсе не «энергичные ребята», как пытается их представить тов. Слезко, а те же самые рабочие, женщины преимущественно, которым государство годами не доплачивало за тяжкий труд в отвратительных условиях. В-четвертых, заработки их считать надо не помесячно, а в конце года, поскольку никаких гарантированных действующих расценок нет больше на этом заводе: и ремонт, и модернизация, и зарплата — все теперь из одного кармана. В-пятых, о спирали инфляции: неужто зампредседателя КПК, хоть и был он в прошлом помощником у Е. К. Лигачева, понимает в экономике больше, чем вся Госкомиссия по экономической реформе Совета Министров СССР? Ведь именно это правительственное подразделение, исследовав суть конфликта между дрожжевиками и Минфином, взвесив все «за» и «против», приняло сторону дрожжевиков и, больше того, рекомендовало внедрять ту же форму хозяйствования и экономических отношений на других пищевых предприятиях страны.

«Неужели столь крупный руководитель, как тов. Слезко, не знал этого?» — вправе спросить я теперь, пользуясь стилистикой Петра Яковлевича. Знал, как выяснилось... «А если знал, то что это?» Я позвонил П. Я. Слезко и, поскольку в его подчинении огромный контрольный аппарат, предположил в разговоре, что он располагает, должно быть, данными о моих коррумпированных связях с кооператорами, социальный заказ которых я выполняю. И пригласил его встретиться в открытом телевизионном эфире для выяснения отношений. Петр Яковлевич наотрез отказался. А жаль. Мы бы вспомнили с ним еще и нашумевшую на весь свет кампанию травли старателей, развернутую не без его поддержки на страницах «Социалистической индустрии». Разгон артели «Печора», который обошелся государству потерей не одного мешка золота. Оскорбительное для человеческого достоинства копание в биографии председателя этой артели Вадима Туманова и последовавшее затем решение суда, обязавшего газету принести извинения... Вот интересно: ни разу не читал я и не слышал, чтобы партийные органы наказали кого-то из тех, кто чинит препятствия на пути перехода к истинной самостоятельности предприятий, внедрения новых форм хозяйствования и экономических отношений. Взяли бы и исключили из партии за то, скажем, что мешают переходу на аренду. Таких жалоб — тысячи на телевидении...

Моего коллегу пригласили в ЦК и от имени какого-то «информационного комитета» предложили готовить передачи на ЦТ, которые бы «еще больше разжигали ненависть к тем, кто обогащается». Зачем же разжигать еще больше? К ворам у людей и без того отношение однозначное. Быть может, к тем, кто, вырвавшись из оков «постоянно действующих расценок», по-новому организовав свой труд, зарабатывает много и намерен в дальнейшем зарабатывать еще больше? Если так, то это означает разжигать ненависть к тем, кто, как принято говорить у нас, находится сегодня в авангарде борьбы за рыночную экономику. Не есть ли это попытки дестабилизации общества, натравливания одних групп населения на другие? Вы, кстати, улавливаете общую тональность множества антикооперативных сегодняшних публикаций? «Не ходите туда! Там капитализм, там эксплуатация человека человеком, бездомные лежат под забором, богатые обижают бедных!» И знаете, за что неоднократно получали мы, между прочим, замечания от руководства? За показ в наших репортажах магазинных витрин за рубежом. Потому что зачастую это в сто раз убедительнее, чем целый газетный подвал по политэкономии...

— Вас никто не упрекал на партийных собраниях за склонность неумеренно расхваливать капитализм?

— С чего это вы взяли, что я капитализм расхваливаю? Я его, если хотите, просто не знаю, как и каждый, кто при этом строе не жил. Думаю, там достаточно всяких мерзостей — не меньше, чем у нас. И вовсе не считаю, что надо что-то такое строить, противоположное социализму. Давайте просто считать социалистическим все, что быстро поможет нам выйти из кризиса, все, что работает эффективно и повышает жизненный уровень людей. Всех людей.

А пока у нас хребтом всей экономики, да и всей жизни, остается распределительная система, перед которой мы все просители, которая продолжает дозировать средства, материалы, ресурсы. И поскольку те, от кого зависит, давать или не давать, ни за что не уступят своих мест у котлов — правда на телевидении тоже дозируется.

— А что, по-вашему, эта правда? Уверены ли, что именно ваши убеждения, ваша точка зрения и есть эта правда? Выходит, то, что говорят другие, неправда?

— Если кто-то желает нейтрализовать противоположное мнение, то пусть делает это с помощью убеждения. А не простым нажатием кнопки, выключением из кадра — как выключают станок. Как хотят выключить меня, моего коллегу Михаила Лещинского, чье мнение о нынешних отношениях с Афганистаном перестало совпадать с официальным, как выключили Георгия Кузнецова — одного из ведущих передачи «Добрый вечер, Москва!»...

В стремительном круговороте событий кто может дать гарантию, что то, что сегодня подается как истина, завтра уже не будет считаться истиной? Что те, кого называют сейчас безответственными экстремистами, не возьмут на себя в конечном счете ответственность за судьбу страны?

Как я чувствую себя сегодня? Уверенно. Я член блока народных депутатов «Демократическая Россия». В округе, который буду представлять на Съезде, избирателей почти миллион. Есть поддержка и в Гостелерадио: партийная конференция комитета приняла резолюцию, в которой рекомендует руководству вернуть в эфир передачу «7 дней» и меня в качестве одного из ее ведущих. И вообще говорилось о порочности практики отстранения журналистов от работы без учета мнения телезрителей и редакционных коллективов.

— Поддержка мощная, но вот резолюция... Вправе ли по нынешним временам партийная организация вмешиваться в дела вашего руководства, вправе ли члены партии оказывать, так сказать, давление снизу?

— А сверху?

Беседу вел Д. БИРЮКОВ.



■

Одна из основных проблем, обостряющих и без того сложную политическую и социально-экономическую обстановку в стране,— жилищная. Наиболее остро и нетерпимо она стоит в Вооруженных Силах СССР. Влияние ее на боевую готовность очевидно. В настоящее время в связи с сокращением наших Вооруженных Сил, выводом советских войск из стран Восточной Европы и Монголии, известными событиями в республиках Советской Прибалтики и Закавказья социальная напряженность в армейских кругах усиливается и может привести к непредсказуемым последствиям. Жилищный вопрос не под силу решить Президенту страны и министру обороны, какими бы полномочиями они ни обладали, и партийные организации Вооруженных Сил должны внести свой вклад в его решение.

Мы обращаемся ко всем армейским коммунистам с призывом: перечислить 75 процентов партийных взносов за полгода — с 1 июля по 31 декабря 1990 года — в военный бюджет целевым назначением — на строительство жилья для офицеров, прапорщиков, сверхсрочнослужащих и членов их семей. А ЦК КПСС, министра обороны СССР и начальника Главного политуправления СА и ВМФ просим поддержать предложение коммунистов Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина и оказать содействие в реализации этого обращения в жизнь.

В качестве справки: 1 миллион 250 тысяч коммунистов ВС СССР ежемесячно платят в среднем 8—10 рублей партийных взносов. За шесть месяцев 75 процентов от общей суммы составят 52—55 миллионов рублей. А это по меньшей мере 50—55 стоквартирных домов. (Цифры, разумеется, минимально приблизительные.)

По поручению партийной организации I курса II факультета Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина

Майоры
В. И. СЕМЧУК,
С. Н. КРАСИЛЬНИКОВ,

■

Уважаемый председатель Гостелерадио! Пишет Вам «главный экстремист» недавней первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади — народный депутат Октябрьского райсовета г. Москвы А. Г. Сарафанов. Да, именно так с легкой руки вверенного Вам телевидения обращаются теперь ко мне мои избиратели, коллеги-депутаты и просто знакомые — кто в шутку, а кто и всерьез, с испугом: мол, что вы там натворили, ребята? Вкратце напомню ситуацию: 1 Мая, репортаж программы «Время» о событиях на Красной площади, основная часть которого была посвящена подробному описанию официального митинга-ритуала по сценарию ВЦСПС и на котором присутствовала явно не основная часть людей, прошедших в тот день мимо Мавзолея. В небольшом фрагменте этого репортажа, посвященном основной (по количеству участников) демонстрации, когда шли колонны жителей от всех районов Москвы вместе со своими депутатами всех уровней, давая однозначно негативную оценку этому шествию, при словах диктора что-то вроде «...они несли экстремистские лозунги, и прозвучали экстремистские выкрики» крупным планом в течение 3—5 секунд показали меня (бородатый мужчина в кепке) и закончили этот эпизод примерно так: «... и руководители правительства вынуждены были покинуть трибуну Мавзолея». А 4 мая в другом репортаже об этом событии (сразу после программы «Время») при словах «...руководители Московского объединения избирателей дезорганизовали проведение демонстрации» вновь на экране моя, столь полюбившаяся Вашим журналистам персона.

Уважаемый председатель! Я не нес экстремистских плакатов. Напротив, мы вместе с сыном-пионером несли вполне лояльный плакат «Прошла зима, настало лето — спасибо партии за это!», который, естественно, показан не был, поскольку не соответствовал тексту Вашего диктора. Я не выкрикивал экстремистских лозунгов; во время шествия нашей, Октябрьского района, колонны до самого конца площади все члены правительства, в полном комплекте, продолжали присутствовать на трибуне. С голубой повязкой МОИ на рукаве я, как и многие, старался сохранить колонну во время ее движения от места сбора, играя скорее организующую, а не «дезорганизующую» роль. Все это легко проверить по многочисленным роликам Вашего и еще одного ведомства. Так что, уважаемый председатель, весь тот имидж, который Вы мне создали 1 и 4 мая и плоды которого я пожинаю в настоящее время,— это, извините за грубое слово, сплошная «липа».

В конце концов Бог со мной, но ведь всей этой тенденциозной подачей информации Вы дискредитируете демократическое движение народа. Ведь в основном это были нормальные, конструктивные лозунги, было много хорошего. Да, были где-то и резкие лозунги, резкие по сути скандирования, но, я уверен, все в рамках Конституции, и это — нормальная составляющая всего спектра демократии: плюрализм есть плюрализм. Негоже на основании единичных явлений очернять все в целом.

Я сравниваю ряд событий, участником которых был (демократические митинги 4 и 25 февраля на Манежной и Зубовской площадях), и репортажи ЦТ, которые мне затем довелось увидеть,— тенденциозные, как и этот, первомайский, как в кривом зеркале, переворачивающие все с ног на голову, дискредитирующие нашу зарождающуюся демократию.

А. Г. САРАФАНОВ,
народный депутат Октябрьского Совета Москвы

■

Внимательно прочитал свежий Закон «О правовом режиме чрезвычайного положения».

Похоже, что понятие «суверенитет» применяется здесь в каком-то новом качестве, поскольку слова о том, что «Президент СССР может вводить временное президентское правление при соблюдении суверенитета... союзной республики», никак не стыкуются с нижеследующими словами: «При этом полномочия соответствующих органов государственной власти и управления приостанавливаются...»

Логичнее было бы слова о суверенитете выпустить, так как о временности президентского правления говорится ранее.

А при том, как формулируются в Законе эти соседствующие формулировки, они не могут не попасть на зубок юмористам. То, что слово «суверенитет» употребляют сейчас где надо и где не надо, свидетельствуют многочисленные публикации в печати, посвященные этому вопросу, например, статья «Раскол Компартии Латвии» в «Известиях». В ней говорится о том, что XXV съезд Компартии Латвии «выступает за восстановление реального суверенитета республики в Союзе Советских Социалистических Республик на основе нового Союзного договора, за полновластие в решении вопросов государственного строительства».

Новый Союзный договор, наверное, предусмотрит делегирование части прав республик общесоюзному Верховному Совету и правительству, так о каком «реальном суверенитете» и «полновластии» республики может идти речь?

Я не оцениваю существо вопроса о договоре, но нужно быть аккуратнее в выражениях, иначе «реальный суверенитет» и «полновластие» можно трактовать как угодно.

А. С. СИРОТИН
пос. Симимусти Эстонской ССР

■

Прилагаю к своему письму молодежный выпуск красногорской газеты «Альтернатива». Хотелось бы, чтобы вы присоединили ее к «жалобному» письму народных депутатов-военных в Верховный Совет СССР, обвиняющих «Огонек» в необъективности.

В этой газете опубликовано «Неотправленное письмо Президенту СССР», подписанное народным депутатом Красногорского городского Совета Михаилом Савченковым, в котором он приводит некоторые сведения о латифундиях генералитета. Неплохое, думаю, дополнение к опубликованной у вас в № 13 статье «Дачные привилегии при свете гласности». Вот, например, дача, бывшая в пользовании генерала Кочетова, а ныне министра обороны Язова, имеет площадь 1380 квадратных метров и приусадебный участок 16,7 гектара. Дача, которую до недавнего времени занимал маршал Ахромеев,— 1016 квадратных метров и соответственно 2,6 гектара земли. Дача маршала Соколова площадью 1432 квадратных метра находится на участке более 5 гектаров.

Можно только присоединиться к вопросу народного депутата: где, кто, какими законами, какой Конституцией и каким декретом закрепил за ними такое право на землю?

Сейчас, когда появляется возможность выкупить дом, который занимаешь, происходят поистине чудеса. Стоимость дачи генерала Сорокина определена в 43,2 тысячи рублей, хотя только ремонт этой двухэтажной виллы площадью 600 с лишним квадратных метров, с сараем, гаражом, ледником на участке в 2 гектара, с лесом и прудом и отдельной котельной в прошлом году обошелся в 343 тысячи, при этом были использованы мрамор, дуб, ценные стройматериалы. Ремонт дачи, где раньше жил генерал Лушев, площадью 890 квадратных метров стоил 700 тысяч, а цену дому поставили 226 тысяч.

Всего в пяти километрах от дачного заповедника Министерства обороны находится дом, в котором проживают отставники, пенсионеры, вдовы, чьи мужья отдали служению в Советской Армии по 30—40 лет. Всего нас около 60 человек в 27 квартирах. Прилагаю еще одну вырезку — из местной газеты «Авангард», где описаны наши беды: протекающая крыша, сгнившая за 37 лет электропроводка, которая в сочетании с сухой штукатуркой и деревянными перекрытиями создает пожароопасную обстановку, особенно в общих квартирах. Но это никого, кроме нас, жильцов, не волнует. Для нас денег у Министерства обороны не хватает, мы для него списаны из жизни.

З. В. ЗАХАРОВА,
вдова подполковника, воевавшего, прослужившего в СА 35 лет

■

«Кто виноват?» Ответ на этот извечный вопрос, встающий при любых потрясениях, бурно волнует общество. Он же возникал порой в речах, звучавших на пленуме Горьковского обкома КПСС, который был посвящен обсуждению проекта Платформы партии к XXVIII съезду. И козлами отпущения чаще всего оказывались неформалы. Офицер местного гарнизона Л. В. Михайлов по-командирски дал залп по народному депутату СССР Богданову за его пристрастие к состоявшимся в Горьком «Сахаровским чтениям». Дескать, никчемное занятие, которое никого не накормит, не остановит преступность, не поднимет авторитет партии.

Дальше — больше. Главный конструктор ЦКБ «Лазурь» Н. К. Кваша, в свою очередь, обрушился на популярного в городе молодого ученого, выдвинутого кандидатом в народные депутаты республики. «Какая у нас там альтернатива кандидатам в депутаты — коммунистам? Ну, Немцов там, еще ряд других. Если посмотреть, что он собой представляет? Да ничего. Что он сделал для народа полезного? Да ничего. Но почему тогда бурные митинги, поддержка?.. Неформалов немного, но

ЧТО ТАКОЕ СУВЕРЕНИТЕТ? ●
ЖИЛЬЕ ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ●
КАК ПЕТЬ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ»? ●

они очень четко организованы». А не пришла ли в голову оратора мысль, что этому стоит кое-кому у них поучиться?

Но, кажется, всех превзошел директор дзержинского института «Гипрополимер» В. К. Нейман. Он задал вопрос сидящим в зале коммунистам: «Так куда эта гласность ушла? Куда мы ее отдали с вами, товарищи коммунисты? В журнал «Огонек», который плачет по царю-батюшке, да? В моем понимании это контрреволюция самая настоящая. Очень обидно, что во многих журналах, в том числе в «Огоньке», написано: издается в типографии или в издательстве ЦК КПСС «Правда». Какая же это правда, когда кривда?»

С каких это пор раскрытие «белых» пятен в истории стало квалифицироваться как контрреволюция? Не со сталинских ли времен, по которым, видимо, стосковался оратор? Об этом свидетельствует и его требование рассматривать «как партийное преступление», ежели коммунист высказывает свое личное мнение, не состыкованное с официальной программой парторганизации, в которой состоит. Не по нраву пришлись выступавшему вольности, которые позволяют себе коммунисты в советском парламенте, где «иные коммунисты, простите, там совсем не коммунисты».

Самое удивительное, с моей точки зрения, что подобную нетерпимость на партийном форуме высказывают люди, считающие себя интеллигентами. А истинная интеллигентность, смею думать,— уважительность к себе и другим, умение выслушивать, а главное, вслушиваться в аргументацию оппонентов, не рубить сплеча, находясь на трибуне, и не считать себя носителем истины в последней инстанции. Или эти интеллигенты тоже не хотят поступиться своими принципами?

М. А. ХАЗАНОВ,
член КПСС с 1942 года
Горький

■

Нахожусь на научной стажировке в США и в одном из воскресных выпусков «Нью-Йорк таймс мэгэзин» прочитал большой материал о русском национализме.

Уважаемый писатель В. Распутин, представленный в статье как один из главных идеологов русского «патриотического движения», говорит американскому корреспонденту о том, что евреи должны взять на себя ответственность за «грехи» революции, уничтожение русской культуры и за свой древний грех — распятие Христа. Правда, дальше следует оговорка, что поскольку России нужны «мозги» еврейского народа, то евреи могут сосуществовать с русскими. Писатель не объясняет, каким образом эта ответственность должна быть осуществлена. Остается только гадать — то ли это должны быть покаянные письма граждан еврейской национальности в «Наш современник», умоляющие простить им преступления пресловутого Лазаря Моисеевича, то ли публичные театрализованные саморазоблачения в духе тридцатых годов.

Не знаю, высказался ли В. Распутин с преднамеренным расчетом напугать американцев, но очень многие в Штатах читают участившиеся сообщения о поднимающем голову великорусском шовинизме с таким чувством: нет, рано заигрывать с Россией, рано верить в русскую перестройку, вдруг там действительно развяжут гражданскую войну. В разговорах со мной как с представителем России очень многие — и простые американцы, и исследователи Советского Союза, и деловые люди — делятся подобными опасениями. Что касается бизнесменов, то именно боязнь политической нестабильности — а ее в том числе связывают с действиями и намерениями «патриотов» — предотвращает многих от участия в совместных предприятиях, от вложений в советскую экономику, которая так в них нуждается.

Уважаемый писатель Распутин, ведь ваши книги гораздо полезнее и ценнее вашей роли «идеолога русского национализма»!

О. БАБИНОВ,
социолог

■

Посылаю вам публикацию, которая, с моей точки зрения, характеризует аппаратное мышление. Она появилась в газете «Красное знамя», издаваемой Новоайдарским райкомом Компартии Украины и районным Советом народных депутатов. В статье «Единственный шаг — консолидация сил» лектор райкома партии В. Гречишкин пишет: «Инертность, застой в партийно-политической работе порождали недовольство населения. Этим умело воспользовались антисоциалистические и левацкие силы, усилиями которых ушли в отставку бюро обкомов в Чернигове, Уфе, Волгограде».

Для аппаратчиков, как видите, Калашников в Волгограде ушел под нажимом антисоциалистических и левацких сил. И это публикуется под рубрикой «В помощь идеологическому активу» и дается к единому политдню, который проводится под девизом: «К гуманному, демократическому социализму через перестройку партии, обеспечение полновластия народа».

Н. И. РУДЕНКО
пос. Новоайдар
Ворошиловградской области

■

Я старый подписчик «Огонька» и старый человек. Мне 88 лет, член КПСС. Мой опыт, моя жизнь дают мне право говорить о нашем партийном гимне. В моем представлении гимн — это честь и слава партии, олицетворение ее воли, надежды и веры. Здесь каждое слово должно быть прежде всего правдиво, возвышать сердца, звать людей к лучшему, благородному.

При всем уважении к гимну партии, которое воспитывалось в нас и вошло в некритическую привычку, могу сказать: он явно устарел, не отражает ни надежды, ни веры в перестройку, ни политических реалий сегодняшнего мира. Более того, он вступил в прямую конфронтацию с государственной политикой нашей страны. Многие слова партийного гимна звучат сейчас несвоевременно. Вспомним: «Вставай, проклятьем заклейменный // Весь мир голодных и рабов»... К кому, к каким людям, к какому государству относятся эти начальные строки? К людям всего мира, к человечеству? Да и кто дал нам право обращаться к другим гражданам с таким призывом?

Далее: «Кипит наш разум возмущенный // И в смертный бой вести готов»... В какой бой, с кем?

«Весь мир насилья мы разрушим // До основанья, а затем // Мы — наш, мы новый мир построим»... Помилуй Бог! Какой мир собираемся мы разрушать? А потом на развалинах мира будем строить «наш новый мир»? Наш народ не позволит рушить даже то, что уже полуразрушено. Значит, другие страны? Кстати, в этом «мире насилья» живется пока немного лучше, чем у нас. И бегут не оттуда, а туда. И не разрушать, а жить. Вообще насчет разрушения мира нам надо быть поосторожнее, особенно КПСС в ее партийном гимне.

Мне могут возразить, что «Интернационал» — это нечто историческое и символическое. Какое же символическое, когда призыв к насилию и разрушению живет и здравствует как гимн и торжественно исполняется — на XIX партконференции, на XXVII съезде КПСС? Неужели он будет греметь и на XXVIII съезде коммунистов? Решен вопрос о 6-й статье Конституции, и партия должна задуматься над нынешним звучанием своего чересчур воинственного гимна, многие из призывов которого усилены именно в русском переводе и не соответствуют сегодняшнему положению дел.

В. М. ТЮРИН,
полковник в отставке,
ветеран гражданской и
Великой Отечественной войн

■

Прочитали статью в № 14 «Огонька» за этот год «Не запирайте вашу дверь!» о детях-сиротах, которые воспитываются в детских домах, и сразу же решили написать вам.

Мы с мужем заключили брак в 1985 году. В апреле 1986-го у нас родился сын, прожил 19 часов и умер. Через полтора года родилась Иринка. В возрасте год и 7 месяцев тоже умерла. После длительного существования на белом свете мы с мужем решили взять из детского дома девочку и мальчика и обратились сразу же в Детский фонд имени В. И. Ленина. И вот из Главного управления народного образования Иркутского облисполкома нам пришел ответ: «Положение с усыновлением в области остается тяжелым. Основной причиной является то, что многие дети по состоянию здоровья не подлежат передаче в семьи, есть еще ряд правил, которые не позволяют отдавать детей.

В Иркутской области 4 дома ребенка, где воспитываются дети со дня рождения и до 3 лет. В двух из них находятся дети, которые идут на дальнейшее воспитание в дома-интернаты по линии собеса и в дошкольные детские дома для детей с недостатками в умственном развитии. В двух других дети находятся с другими различными заболеваниями. Здоровых детей в настоящее время на удочерение нет».

Обращаемся в редакцию с надеждой, что все-таки нас услышат. В конце статьи автор Е. Сафонова пишет: «Но как хочется, чтобы родительское тепло и заботу смогли почувствовать и многие-многие другие, те, что и по сей день вынуждены жить в детских домах и школах-интернатах. Они ждут от нас помощи. Надо торопиться». Как же эти слова и то, что мы читаем о милосердии к детям в других изданиях, слышим по телевидению, соотнести с полученным нами официальным ответом?

У нас есть большое желание взять девочку и мальчика в возрасте 2—3 лет. У нас благоустроенная квартира, дачный участок, личный автомобиль — все второстепенное имеется, но нет главного — детей.

Помогите нам!

Т. Н. СОЛДАТЕНКО
Саянск Иркутской области

«ОГОНЕК-ВИДЕО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Сообщаем, что закончена работа над третьим выпуском «Огонек-видео» за 1990 год. Мы включили в него следующие сюжеты:

«Очередь № 1» — размышления о роли Мавзолея В. И. Ленина в жизни нашего общества.

«Политический спектр» — панорама новых партий, вышедших на политическую арену в СССР: социал-демократы, монархисты, конституционные демократы, анархо-синдикалисты, "Демократический союз».

«Железная леди «социализма» — портрет Нины Андреевой.

«Рубеж» — взгляд на экологическую ситуацию промышленных городов.

«Театр начинается с консорциума?» — помогут ли новые экономические веяния артистам Большого театра Союза ССР?

«Апрельские шутки Александра Иванова» — выступления известного поэта-сатирика на благотворительном вечере Фонда «Огонек-АнтиСПИД» в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

«Разрушение стены» — или как изменились взаимоотношения студентов ФРГ и ГДР в нашей стране после разрушения Берлинской стены.

«Изделие № 2» — репортаж с завода по производству презервативов.

Заявки на приобретение этой видеокассеты, а также видеовыпусков «Огонек-видео» за этот год и выпусков «Огонек-видео» за прошлый год принимаются по адресу: 117313, Москва, аб. ящик 843, тел. 212-15-79.

Елена БОННЭР

ГОЛОДОВКА

(из книги «Постскриптум») **

21 мая Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 69 лет... Но он — уже вне времени, навеки оставшись в том пространстве, куда благодарная человеческая память помещает свои надвременные ценности. Академик Сахаров — навсегда... И все же, как бы то ни было, нам не следует впадать в привычную ошибку и делать из него небожителя, потому что был Андрей Дмитриевич человеком земным. Такой мы и должны воспринимать его личность, ибо только в этом случае уроки его жизни не пропадут для нас даром. Вот об этом-то земном существовании Сахарова мы и хотим вам рассказать в коротком отрывке из книги жены Андрея Дмитриевича — Елены Георгиевны Боннэр. Полностью вы сможете прочитать ее в журнале «Нева».

Отдел публицистики



А. Д. Сахаров на балконе горьковской квартиры.

...3 июля в «Известиях» появилась статья (письмо четырех академиков с известными обвинениями в адрес Сахарова). Письмо это подписали А. А. Дородницын, А. М. Прохоров, Г. К. Скрябин, А. Н. Тихонов (говорят, Прохоров жалеет, что подписал: его плохо принимают за границей...) Их письмо вызвало бурю. Советские люди академикам верят, тем паче один — Нобелевский лауреат. А что эти академики постеснялись даже название статьи Сахарова привести — этого советские люди не знают.

Пошел поток писем — 20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло до 132 в один день, потом постепенно их количество стало уменьшаться, но не прекращалось. Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные. Когда мне друзья говорят, что они инспирированы, я могу противопоставить этому только свою абсолютную уверенность в том, что это пишет советский народ, у него тоже иногда просыпается некая «социальная активность» — вот хоть в этом. Среди писем — от Володи Чавчанидзе (я его так накоротке называю, потому что он был в аспирантуре одновременно с Андреем, и Андрюша так его зовет в своих рассказах о том времени). От одноклассника моей дочери. От одной сотрудницы Андрея, которую он очень по-доброму вспоминает в своей книге. Много священнослужителей, много пенсионеров, большинство — ветераны войны, и все считают, что Сахаров призывает к термоядерной войне. Именно это они вынесли из письма четырех академиков. В июле на подмогу академикам пришел журнал «Смена» (тираж идет чуть ли не на миллионы), где Яковлев повторил и развил то, что было в его книге. Поток писем изменил свою направленность, многие письма стали откровенно антисемитскими, участились угрозы — особенно в мой адрес.

В августе уже не президент Академии, а глава государства (тогда Андропов) в беседе с американскими сенаторами заявил, что Сахаров сумасшедший *.

А нам угрожают на рынке, и, когда выходишь на балкон, на улице скандалы — было все. Кажется, только не били. И как апофеоз — погром, который мне устроили в поезде 4 сентября, когда я ехала из Горького.

Я ехала дневным поездом. Он выходит из Горького в 6 часов 20 минут утра, в Москву приходит в 13 часов 40 минут. В купе, кроме меня, были еще две женщины средних лет и один мужчина. Одна из женщин спросила: «Вы где живете в Горьком?» — «На проспекте Гагарина».— «В доме 214?» — «Да».— «Вы жена Сахарова?» — «Да, я жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова». Тут вмешался мужчина: «Какой он академик. Его давно гнать надо было. А вас вообще...» Что «вообще» — он не сказал.

Потом одна из женщин заявила, что она советская преподавательница и ехать со мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она меня выгнать не может. Крик усилился, стали подходить и включаться люди из других купе, они плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали что-то про войну и про евреев. Я была абсолютно спокойна, прямо как оконное стекло, на котором все время почему-то держала левую руку. Потом проводница куда-то скрылась. Люди в коридоре протискивались мимо купе, заглядывали, что-то кричали. Гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны. Потом проводница вновь появилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды ненависти. Она посадила меня в свое служебное купе. Так я доехала до Москвы.

Из дневника А. Д. Сахарова:

«Для Люси с ее чуткой эмоциональностью повседневное столкновение с неприязнью и ненавистью окружающих тяжело (для меня тоже). Старуха, грозящая кулаком, еще что-то в этом роде. Столкновение в поезде 4 сентября было, конечно, спровоцировано несколькими гебистами, но большинство пассажиров, кто по охотке, кто из страха, приняли участие в общем крике... Люся писала мне в фототелеграмме: «Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна»... Ших и Белка, встречавшие ее, сразу по ее лицу поняли, что произошло что-то ужасное. После рассказа Люси Белка плакала».

Толпа, погром, фашизм — как все сходится в нашем мире к одному. Мне все время, пока стоял крик, пока грозили и пока я не увидела на перроне Шиха и Белку, было жаль, что у меня нет желтой звезды нашить себе на платье.

Вот еще из дневника А. Д. Сахарова.

«Следующий раз Люся ехала в Москву 22 сентября 37-м поездом. Мы боялись повторения «вагонного погрома», но вечерний поезд вообще менее подходит для такого, а кроме того, Люсе (впервые за три с половиной года) удалось обменять билет на СВ. Она ехала в полупустом вагоне. В купе с ней артист Жженов (это какая-то знаменитость), боюсь только, что он был выпивши. Его провожала шумная компания. Кто-то крикнул: «С тобой поедет очень интересная (или симпатичная) женщина». Люся сказала: «Знали бы они...»

Я уезжала из Горького 22 сентября, был теплый для этого времени года вечер, и мы с Андрюшей долго стояли на перроне, а когда вошли в вагон (в кои веки мне удалось обменять в кассе вокзала плацкартный билет на СВ — спальный вагон), то около нашего — моего то есть — купе увидели несколько человек, смеющихся, с шампанским и явно не из ГБ. Эти люди нас пропустили, Андрей положил вещи, и мы снова вышли в коридор. Кто-то из них спросил, кто из нас едет. Я ответила. Тогда другой, стоящий рядом, крикнул в глубь купе: «С тобой едет симпатичная женщина»,— после предыдущей поездки, когда был тот погром, это восклицание

* «Отвечая на заявление сенатора Пелла, упомянувшего дела известных диссидентов, Андропов начал с того, что описал Андрея Сахарова как «психически больного человека», который написал статью, «призывающую к войне». (Из отчета делегации восьми сенаторов о поездке в Советский Союз; сенатский документ 9816.)

** Печатается с сокращениями.

показалось странным, и я сказала Андрею: «Знали бы они». Мы еще постояли в тамбуре, грустна нам всякая разлука, даже вот так, на несколько дней. И всегда помнятся слова Мандельштама: «Кто может знать при слове — расставанье, какая нам разлука предстоит». Андрей спустился на перрон, поезд тронулся, как в песне «вагончик тронулся, вагончик тронулся» — кинофильм «Ирония судьбы»; это действительно наша с Андрюшей жизнь — ирония судьбы. Мне тут по необъяснимым ассоциациям вспомнилось начало 1971 года. Я что-то делала у Андрея Дмитриевича, для Андрея Дмитриевича, наверное, по просьбе Валерия *, и почему-то разговор зашел о славе. Андрей Дмитриевич сказал: «Ну, у меня все эти валентности давно заняты». Думаю, это должно было означать: «Большей не будет, и большей, упаси Бог, не надо». Однако вот пришли эти заполнившие дом тысячи писем, которые мы не в силах прочесть. Для них нужен государственный архив, чтобы разобрать их и хранить. Это слава — жена, которую узнают на улице, в поезде и готовы линчевать. Я прошла в купе. Все провожающие ушли. Мой визави несколько старше нас с Андреем, взгляд и глаза хорошие, хорошая большеротая улыбка, правда, с оттенком некоего профессионализма; в общем, то, что называют открытым лицом. Что-то в нем знакомое. Говорит, как хозяин, правда, дружелюбный: «Давайте знакомиться — Жженов Георгий Николаевич» (в отчестве сегодня, когда пишу, не уверена **. На Георгия Николаевича Владимова, которого очень люблю, смахивает). И как будто ждет от меня реакции какой-то особой, то ли на фамилию, то ли на дружелюбность его. Это я потом поняла, что он привык, чтобы везде узнавали, чтобы на фамилию реакция была бурная — он народный артист, но я не узнала его. А фамилий актеров вообще, кроме пяти-шести, ничьих не знаю. И я ему тоже по возможности дружелюбно, хотя поначалу на дружелюбие совсем не тянуло:

— Боннэр Елена Георгиевна,— и вижу, он руку не мне, а к двери протянул, закрыл и полушепотом:

— Та самая?

— Да, та самая.

— Никогда не подумал бы.

— Недостаточно страшна для той, о которой читали?

— Пожалуй.

— Перетерпите мое соседство, или мне попросить проводника, чтобы перевели в другое купе? — Молчит.— Ну, раз молчите, я останусь, а вы уж как хотите.

На столе стояли наполовину опорожненная бутылка водки и открытая бутылка шампанского. Он налил в два стакана и предложил мне.

— Не пью.

— Совсем?

— Совсем.

— Странно!

— Вам что, где-нибудь наплели, что я к тому же и пьющая,— у Яковлева этого вроде нет?

— Говорили. Ну, а чайку?

— Чай пью.

Он достал из портфеля металлическую коробку с чаем. Любит, видимо, хороший чай. Вышел и вернулся вместе с проводницей, которая принесла все для чая. И начался наш очень с ним долгий разговор — до четырех ночи; чай перемежался у него с водкой, к концу разговора он был сильно выпивши, если говорить мягко. Суть разговора мне хочется изложить — это ответ на частый вопрос: «Как относятся к нам, ко мне люди, верят ли они тому, что писал Яковлев?» На мой вопрос, как он может верить тому, что писал Яковлев, отвечает вопросом:

— А как не верить, на основании чего?

— На основании собственного жизненного опыта. Вам сколько лет?

— 67.

— Дело врачей помните? Журнал «Звезда», Ахматова, Зощенко, космополиты...

Молчит; и потом вдруг, после еще одной рюмки, заговорил о собственном опыте. Вот его рассказ. Учился в Ленинграде в театральном училище и начинал в Ленинграде очень успешно. В 30-е годы посадили. Случайно попал в кино — пришелся на роли солдат не самого юного возраста. С этим вернулся на столичную сцену. Пришел успех, поздний, но тем дороже. Вот такой опыт! И это ему я должна что-то доказывать — при его-то опыте! Он говорит, что думает, что теперь в стране все подругому, но, когда говорит это, видно: он не меня — себя убеждает. В разговоре с ним все время было у меня ощущение: вот еще немного, совсем немного, и что-то в нем прорвется, перестанет он сам себя утешать ложью. Но — не прорвалось. Я даже его уговаривала с поезда поехать ко мне кофе пить, чтобы посмотрел своими глазами дом, из которого я якобы выгнала детей Сахарова, нашу — мамину — двухкомнатную. А я ему книжку квартплаты покажу, где написано, что квартира была дана маме в 1955 году. Говорила, что милиционеры дежурят только с 9 утра (тогда так было), что он кофе выпьет и уйдет и никто ему этого никогда не вспомнит.

— Нет.

— Но почему, почему нет?

— Боюсь.

— Чего?

— Боюсь, и все.

К четырем часам, уже закончив бутылку водки, руку мне целовал, говорил, что преклоняется перед Андреем и передо мной тоже. Но...

Боюсь. Боюсь.

Утром старался не глядеть в мою сторону. Как мельком, не глядя пожал руку, вышел, сухо бросив: «До свидания».

На перроне меня ждал Юра Ших. Он мне сразу сказал: «С тобой Жженов ехал в одном вагоне, хороший артист, я его люблю». Ших — завзятый кинотеатрал, не то что мы: сразу узнал. А я ему всю эту историю рассказала. Ших почему-то на меня ворчал, считал, что я была недостаточно красноречива, могла бы и убедить, а уж на кофе затащить — подавно. Не прав он: страх ни в чем убедить нельзя и ничем — ни словом, ни делом. Преодолеть страх можно только самому...

...За несколько дней до Нового года (похоже, в канун Рождества) меня попросили прийти в консульский отдел США. Там меня ждал доктор Стоун *. Он привез Андрюше в подарок фотоаппарат и калькулятор. Сказал, что разговаривал с руководством советской Академии об Андрее, но, к сожалению (нашему), этот разговор не сопровождался никакой гласностью. А разговоры с глазу на глаз — это игра, которую советские власти даже поддерживают. И от них никогда никому проку никакого еще не было. Однако именно так действуют многие западные друзья моего мужа. Я сказала доктору Стоуну, что Сахаров вновь обращался к президиуму Академии и президенту помочь получить разрешение мне поехать на лечение и не получил ответа, что он решил вновь объявлять голодовку и что он написал письмо Андропову. Стоун сам попросил у меня это письмо и сказал, что он лично передаст его Велихову ** для передачи выше. Мы полагаем, что доктор Стоун выполнил свое обещание. И это означает, что руководство Академии знало о предстоящей голодовке Сахарова, знало, чем вызвана ее необходимость. И так же, как в предыдущий раз, ничего не сделало, чтобы ее предотвратить!

Перед самым Новым годом в Горький приезжал Виталий Лазаревич Гинзбург *. Он был у нас 29 декабря, и Андрей ему рассказал о своих планах. Таким образом, круг посвященных расширялся, и Андрей считал, что это хорошо: чем больше людей будет знать, тем больше возможность того, что власти не захотят скандала и мне просто дадут разрешение. Возможно, это так и было бы. Но все, кто знали, мне кажется, считали, что это их знание — «вещь в себе» и они вроде как об этом не знают...

...30 марта Андрея вызвали в Горьковский ОВИР. Как ни странно, вызвали Андрея, хоть он никогда в ОВИР не обращался. Зав. ОВИРом сказала, что ей поручено сообщить, что ответ на его заявление будет после 1 мая. Андрей сказал ей, что он никаких заявлений в ОВИР не подавал, что заявление в ОВИР подавала его жена. «Я ничего не знаю, меня просили вам передать, и я передаю, что ответ будет вам 2 мая»...

С этим Андрей пришел домой. Нога у него все больше болела, и, как всегда, когда что-нибудь болит, неизвестно откуда узнают, но появляются Феликс с Майей... Она посмотрела ногу, решила, что это тромбофлебит, и назначила согревающие компрессы, которые я стала ставить. На следующий день после прихода Майи приезжали физики, и Евгений Львович ** сказал, что появилась такая очень хорошая мазь триоксавазан и она тоже хороша была бы Андрею.

Вместе с Евгением Львовичем в тот раз был, мне кажется, Линде ***, но я не уверена. Евгений Львович — может быть, от Гинзбурга — знал, что Андрей собирается объявить голодовку, и у него с Андреем был очень длинный разговор. Андрей, который к этому времени уже принял твердое решение объявить голодовку, если мы не получим разрешения на мою поездку в самое ближайшее время, показал Евгению Львовичу разные документы, которые он написал: в частности, обращение к коллегам, два обращения к Александрову. Евгений Львович очень возражал против решения Андрея о голодовке, впрочем, как и всегда. Он настоятельно убеждал, что раз Андрея вызывали в ОВИР и сказали, что надо ждать мая, то надо ждать мая. А Андрей считал, что это просто жульничество, в котором КГБ хочет перехватить инициативу. Кроме того, тогда мы этого не понимали, но позже стали понимать, что этот вызов в ОВИР вызван еще тем, что действительно КГБ хотел перехватить инициативу, но было решено действовать после 1 мая — видимо, заключение Сыркина и других врачей о моем состоянии возбуждало их опасения. Вызов в ОВИР был именно таким шагом со стороны КГБ: после вызова, рассчитывали они, Андрей будет ждать до мая. Но Андрей как раз решил не ждать <...>.

Числа 24-го мы взяли мне билет на самолет, и я послала Галке телеграмму, что прилетаю 2-го числа, что встречать меня не надо и что приеду прямо к ней. Но в Москве они все же решили, что встречать надо, и то ли Леня Литинский ****, то ли кто-то еще поехал меня встречать. Значит, друзья в Москве были чем-то обеспокоены: поведением КГБ или еще чем-то, потому что обычно, когда я писала, что встречать не надо, они мне верили; я писала, что встречать надо,— они встречали.

Мы до 2-го числа жили спокойно и нормально, хотя уже внутренне я вся тряслась, как и в апреле, от ужаса перед тем, что мне надо ехать в посольство, что Андрей начинает голодовку. И одновременно я думала, что из всего этого ничего не выйдет. Ведь мы оба знали, что ГБ все известно, а остановить это я уже не могла, а Андрей уж, конечно, не остановит.

И с этим настроением 2-го числа мы едем на аэродром. Я до сих пор не могу понять, и думаю, что Андрей тоже, зачем у меня в сумке лежат заново им написанные письма послам, обращение и все прочее и копии моих писем Андрею, и детям, где тоже говорится о голодовке и о том, что я уйду в посольство. Зачем они у меня были? Зачем я их таскала с собой? Я не понимаю этого до сегодняшнего дня, ведь все они были (ну, может Андрюшины письма не в таком варианте) в том конверте, который я передала американским дипломатам.

Мы оба очень волновались в ожидании посадки. Я сидела, Андрей стоял рядом, держал мою руку. И снова: «Кто может знать при слове — расставанье...» Эти слова стали как лейтмотив нашей горьковской жизни. На аэродроме, когда повели к самолету, меня обступили человек пять, я оглянулась назад, но никого не увидела. Они меня отделили от других пассажиров, взяли под руки и провели к машине — такой маленький рафик, похожий на «воронок». Я сразу поняла, что арестована, тем паче что, когда мы прощались, мы уже ожидали чего-то в этом роде.

Завезли в другой конец аэродрома. Небольшое приземистое здание, второй этаж, кабинет какого-то начальника, там две женщины в форме МВД и высокий мужчина в штатском. Он представляется: старший советник юстиции, еще что-то (так и не помню всех его званий) Геннадий Павлович Колесников *. Предъявляет мне обвинение по статье 190-прим и постановление об обыске; что точно было написано в этих бумажках, я не помню.

Обыск и первый допрос продолжались больше двух часов — я думаю, часа два с половиной, если не все три. После этого мне дали повестку на допрос на 3-е число, посадили в тот же самый рафик и повезли домой. Везли меня человек пять, наверное, если не больше. Когда я вышла из машины около нашего дома, ко мне обратился какой-то мужчина и сказал:

— Елена Георгиевна Боннэр? Разрешите представиться.

Я испугалась, что это какой-то проситель на виду у всего ГБ пристает ко мне, и стала ему говорить:

— Уходите, вас сейчас задержат.

А он говорит:

— Разрешите представиться — начальник УКГБ по Горьковской области.

Положение какое-то дурацкое. Я на него смотрю и не очень знаю, что я должна сказать. И с этим «не очень знаю» иду к лестнице и прохожу в подъезд. Он идет за мной. Я иду мимо милиционера, прямо в дверь, и он за мной в квартиру.

Андрей бросается ко мне:

— Люсенька!

Я ему говорю:

— Андрюша, это начальник ГБ Горьковской области.

А надо сказать, что к этому времени мне ужасно захотелось в уборную; если учесть, что из дома я выехала четыре часа назад и давно должна была быть

---

* Валерий Николаевич Чалидзе, правозащитник, с 1972 года в эмиграции.

** В отчестве действительно неточность: Георгий Степанович.

* Джереми Стоун, математик, глава Федерации американских ученых.

** Евгений Павлович Велихов, вице-президент АН СССР.

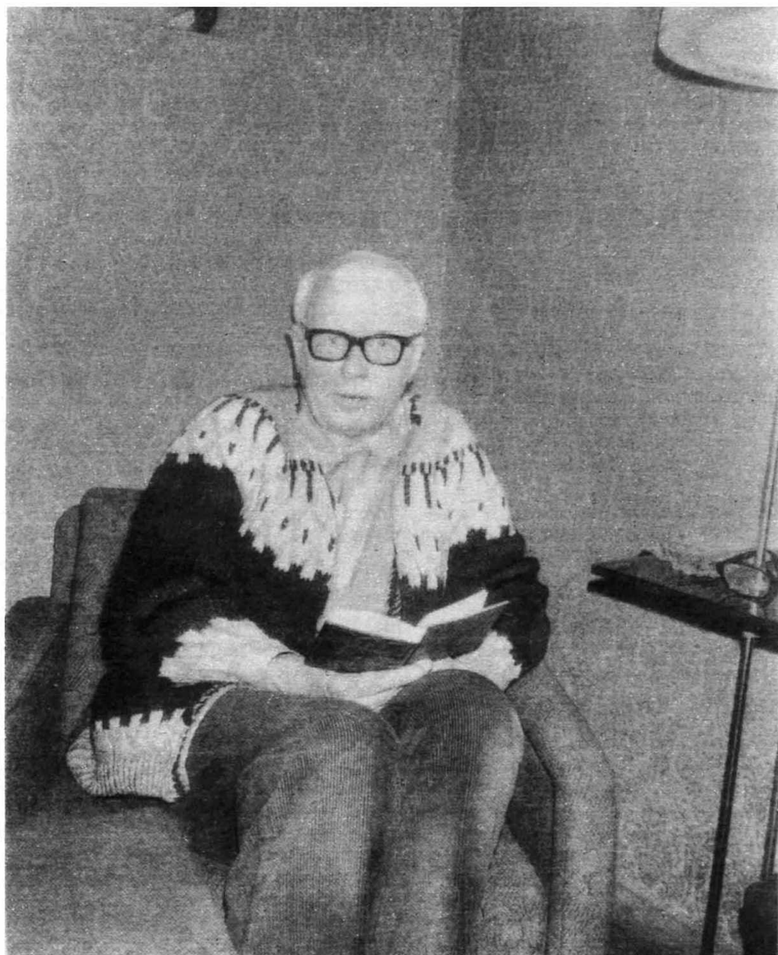
* Академик, в то время заведующий теоретическим отделом Физического института АН СССР.

** Евгений Львович Фейнберг, член-корреспондент АН СССР.

*** Андрей Линде, сотрудник ФИАНа. **Ред.**

**** Леонид Литинский, физик, друг Сахаровых.

* Старший помощник прокурора Горьковской области по надзору за следствием в органах КГБ.



А. Д. Сахаров на квартире в Горьком, 1983 год.

в Москве, то это вполне понятно. Я прямо ставлю сумку на пол и бегу в уборную. Когда я выхожу, то здесь уже полный крик. Разговор идет на самых высоких тонах. Начальник КГБ кричит, что «о ней я вообще разговаривать не хочу. Боннэр является американской шпионкой, сотрудником ЦРУ и сионистской разведчицей. Будем ее судить по 64-й статье... А вот вы...» — чем-то грозит Андрею. Андрей кричит ему, совершенно не помню что. Тот вылетает через дверь, продолжая выкрикивать угрозы по моему адресу, а Андрей бежит в коридор за ним и что-то кричит ему. Спустя несколько секунд Андрей возвращается, и тогда выясняется, что Андрей уже начал голодовку. Он видел, как меня посадили в машину и увезли, и понял, что меня арестовали. Вернувшись домой, он сразу послал телеграммы Председателю Президиума Верховного Совета и в КГБ о том, что начинает голодовку за мою поездку. Пришел после этого домой, принял слабительное, сделал себе клизму и уже сидит попивает водичку. И уже все мои многомесячные возражения: начинать голодовку, не начинать голодовку, имеет это смысл, не имеет это смысла — повисли в воздухе.

Я ему рассказала, что мне предъявлено обвинение, что с меня взята подписка о невыезде и что формально я в данный момент нахожусь под следствием и завтра надо являться на допрос. На этом «рабочий день» 2 мая у нас кончился <...>.

6-го Андрей чувствовал себя еще вполне прилично, хотя это был уже четвертый день голодовки. Я решила сажать цветы. Андрюша начал вскапывать клумбу перед балконом, а я на балконе возилась с землей в ящиках. Это было часов около 12, может, начало первого, когда к Андрею довольно близко подошла Ирина Кристи *. Она была одета в бежевый плащ, у нее в руках была сумка, а в сумке букетик цветов. Андрей — как всегда с ним бывает, если он не подготовлен,— не узнал ее. Я ее узнала сразу. И сразу начала говорить, что меня задержали на аэродроме, что против меня начато следствие и что Андрей голодает со 2-го числа. Я ей сказала, что следствие начато по 190-й статье, но одновременно меня заманивают, пугают 70-й или даже 64-й. Объяснить я ей ничего не успела. (А 70-я выплыла на допросах, потому что Колесников все говорил, что это не 190-я, это гораздо больше, это 70-я. 64-й он не называл ни разу — о 64-й говорил начальник КГБ.)

Все это я объяснить Ире не успела, набежали гебешники и Иру утащили, буквально уволокли в соседний дом, в помещение, которое они называют «Опорным пунктом охраны порядка». Когда ее оттуда вывезли, мы не видели, хотя ждали у окна по очереди почти весь день. Я все жалела, что мы не успели взять у нее цветочки.

Это было 6-го числа. 7-го мы пошли на допрос. На допрос я была вызвана во второй половине дня, где-то часа в три. Поехали мы на такси. Я была у Колесникова, а Андрей сидел в коридоре. При нем была сумка и термос с горячей водой, которую он попивал. Допрос был какой-то вялый, недолгий, в конце допроса Колесников сказал, что ему надо поговорить с Андреем и не возражаю ли я, если он его вызовет в кабинет. Я не возражала, он его позвал и сказал: «Андрей Дмитриевич, за вами приехали врачи, вам надо ехать в больницу». Андрей стал возражать. В это время вошли несколько человек в белых халатах, человек пять-шесть опять же, и предложили ехать в такой форме, что возражать им было явно бессмысленно. Тогда Андрей попросил, чтобы разрешили мне ехать с ним в больницу. Они разрешили.

Нас привезли в больницу на «скорой помощи» и провели в ту же палату, где мы лежали вместе после Лизиной голодовки и Андрей один, когда у него болела нога. Одна кровать в палате была занята каким-то мужчиной. Нас ввели в палату и на некоторое время оставили одних, впрочем, не совсем одних: этот мужчина из палаты не выходил. Надо сказать, что у меня в эти дни очень болела спина, я вообще чувствовала эти дни себя плохо и полуприлегла на Андрееву кровать, и Андрей тоже прилег рядом со мной. В это время пришел Обухов * и сказал, что мне надо уйти. Андрей стал возражать и настаивать, чтобы меня оставили с ним, как было в предыдущее его пребывание в больнице. Обухов категорически возражал против этого, а потом предложил, что я могу остаться в больнице, только в другом отделении и в другой палате. Он так это сказал, что было совершенно ясно — обманывает. Андрей на это не соглашался, вошли несколько мужчин, и мы поняли, что меня будут удалять силой. Я встала с постели, Андрей тоже вскочил и обхватил меня, стоя сзади, поперек живота двумя руками. Меня стали вырывать из его рук. Он меня тянет к себе, а меня вырывают. Тут я на какое-то мгновение ничего не помню — просто не помню, как я оказалась в коридоре. Меня силой вырвали; может быть, я даже на мгновение потеряла сознание. Утверждать я этого не могу, но, как оказалась в коридоре, я не помню. Я только слышала, как Андрей что-то кричит, но, видимо, его держали там силой в комнате, в коридор он не выбежал. Меня протащили по коридору на весу, как детей за руки тащат. В конце коридора поставили на ноги, дали мне мою сумку в руку — значит, кто-то из них ее нес. Мы на лифте спустились вниз, меня посадили опять в машину и отвезли домой. Это было около восьми вечера.

На следующий день, 9 мая утром, я решила ехать в больницу, взяла такси, по дороге попросила таксиста свернуть к маленькому рыночку купить цветов. Я видела, что за мной едут две гебешные машины. Когда я подошла к женщине, которая продает цветы, выбрала тюльпаны и, расплачиваясь, держала их в руках, ко мне подошли два гебешника и спросили, что я делаю. Я сказала: «Что, не видите, цветы покупаю, а что? Нельзя?» — «Нет, цветы можно,— сказал один из них.— Но в больницу нельзя. И не вздумайте подъезжать даже близко. Вас все равно туда не пустят, а у вас будут большие неприятности». Я сказала, что больше уж некуда, все неприятности, которые могут быть, уже есть.

В больницу я не поехала. Ну что ехать! Силой прорываться бессмысленно. Никуда я силой не прорвусь. И вернулась домой. Таким образом я провела 9 мая, не увидев Андрея, расставив по всему дому цветы, которые собиралась отвезти ему ...

Осталась я одна — как провела ночь, не помню. Утром разбудил меня звонок в дверь. Когда я открыла, в квартиру вошли Колесников, две женщины какие-то с ним, одна в милицейской форме, несколько мужчин и понятые — две женщины из нашего дома. Они предъявили постановление об обыске. Это было около девяти утра, и начался обыск, долгий, нудный ...

21 или 22 мая (думаю, что 22-го: если бы это было 21-го, я бы запомнила — ведь это день рождения Андрея) меня не вызывали на допрос, и ко мне в середине дня приехала женщина, сказала, что она медсестра из больницы. Она приехала по поручению заместителя главного врача взять для Андрея очки, зубы и книгу о Паскале. Я все время до этого как раз думала, что, когда его утащили в больницу, он был без съемного протеза. Ему все время мешал протез, он его часто снимал. Все это она сказала на словах, причем было сказано так: «Очки для дали, зубной протез и Паскаль»,— какое-то очень домашнее название книги. Это книга из серии «Жизнь замечательных людей», я ее читала как раз перед тем, как Андрея забрали, и мы ее много обсуждали. Но вряд ли Андрей постороннему назвал бы ее так запросто, без автора и без ничего. И поэтому я решила, что была записка. Я сказала этой женщине, что я все дам, когда мне отдадут записку от Андрея, Она сказала, что она ничего не знает и никакой записки ей не давали, и с этим уехала.

Допроса не было еще два или три дня. И потом утром — звонок в дверь. Появляется Колесников со слесарем из нашего дома и еще какой-то женщиной и с этой медсестрой — оказывается, он приехал с постановлением о выемке очков и зубов, слесарь и женщина из нашего дома — понятые. Следователь начал читать мне нотацию о том, какая я плохая жена и что я явно хочу, чтобы Андрей Дмитриевич продолжал голодовку, раз не отдаю ему зубы. Я снова повторила, что уверена, что была записка от Андрея Дмитриевича, и, если мне ее передадут, я сразу отдам. Но это мое «если» уже не имело значения, уже было постановление о выемке. Представить себе, что снова будут делать обыск и перерывать весь дом, а потом все это мне надо будет приводить в порядок, было невозможно. И я собрала очки (причем очки разные, у Андрея много пар очков), зубы. Про Паскаля я забыла, а принесла трехтомник Пушкина.

Следователь очень удивился — или сделал вид, что удивился — тому, что я дала несколько пар очков. Я говорю, что Андрей Дмитриевич в разных случаях любит носить разные очки. Я даже сказала, что для еды у него есть особые очки. Однако он повел разговор о том, что только плохая жена не знает, какие очки мужу нужны, но потом все очки взял. А про Пушкина сказал: «А зачем ему Пушкин?» И мне как-то очень трудно было объяснить, что Пушкин может быть нужен всегда, в любом случае жизни. Вот это и есть то самое, что называется «другая ментальность» — кому и зачем нужна поэзия. Но Пушкина он все-таки взял. Еще я попросила передать карандаши и бумагу. Все это у меня взяли. Дату, когда это было, я не помню. Мне кажется, 26 или 27 мая ... .

Потом допросы продолжались еще несколько дней. И около 5 июня следователь на допросе прочел мне записку от Андрея. В записке, собственно говоря, ничего не было конкретного о здоровье или еще о чем-либо, были какие-то очень интимные слова мне о том, как он скучает и как тяжела разлука. Я понимала, что записка написана им — никто другой этих слов не написал бы, однако мне записку в руки не дали. Тогда я не понимала, почему, и уже только потом, когда Андрей вышел из больницы и мне стало известно о его состоянии в это время, я поняла, что, видимо, эта записка была написана еще не вполне хорошим почерком.

Тогда же мне разрешили сделать Андрею первую передачу через следователя. После того как у меня взяли зубы, я считала, что Андрей снял голодовку, и все время просила разрешения на передачи. Наконец мне разрешили передать соки, помидоры, ягоды и зелень. Во время следствия Колесников несколько раз передавал мне записки от Андрея, нерегулярно, всего пять или шесть записок, хотя он написал много больше,— мне передавали не все. Иногда из текста записки было понятно, что предыдущая ко мне не попала. Но то, что большинство записок не передано, я узнала, когда Андрей был уже дома. У меня также брали записки, обычно в ответ на Андрюшины, и два

* Ирина Григорьевна Кристи, математик, участница правозащитного движения.

* Главный врач.

раза в неделю брали передачи: ягоды и овощи. <...>

...После суда и писания замечаний к протоколу я осталась в пустоте. Мои контакты со следователем кончились. Никто у меня не брал записок и передач Андрею, и делать мне вроде стало нечего. Сведений о нем никаких не было, и я послала телеграмму главврачу с запросом о состоянии его здоровья и с просьбой к нему и лечащему врачу сообщить мне, что же все-таки с мужем. 15 августа утром я получила бумажку, в которой сообщалось, что Обухов и лечащий врач Евдокимова могут принять меня в горздравотделе в два часа дня. В горздравотделе, а не в больнице — они все еще боялись, вдруг Андрей какнибудь меня увидит или я его. Я поехала в горздрав.

Меня приняли Обухов и Наталья Михайловна Евдокимова, те самые, которых весь мир видел в фильме. Обухов сидит на скамеечке и показывает зрителю так, чтобы Андрей Дмитриевич не замечал, журнал «Тайм» или не помню какой, на котором дата, в доказательство, что это 84-й год. Обухов, который идет садовой дорожкой вместе с Андреем Дмитриевичем, демонстрируя «здорового» Сахарова всему миру. И Евдокимова, которая дважды в одном и том же фильме по-разному докладывает о состоянии здоровья Сахарова, вполне хорошем, по ее словам, и о том, как его кормят и как его лечат.

Эти два человека убеждали меня, что Андрей Дмитриевич тяжело болен, у него тяжелая аритмия, глубокие нарушения сосудов головного мозга и он не может быть выписан из больницы, а мои посещения или его контакты со мной вредны для его здоровья. На этом мой разговор с ними кончился. Правда, когда они мне говорили, чем они его лечат, было вновь упомянуто лечение дигиталисом. Я пыталась им доказать, что дигиталис вреден Андрею Дмитриевичу, что при наличии экстрасистолии это все равно, что давать яд, но из этого ничего не получилось.

Спустя два дня после этого разговора мне удалось купить учебник педиатрии в магазине, где продаются книги, изданные в соцстранах. Учебник был переведен с болгарского. Я послала его Обухову, отчеркнув те места, где написано, что дигиталис при врожденных или юношеских экстрасистолиях, которые сохраняются всю жизнь, противопоказан.<...>

...Что еще примечательного было в этот период? Ничего. Тоска, ужасная тоска, беспокойство за Андрея ужасное. И, как я ни беспокоилась, того, что с Андреем произошло, я представить себе не могла.

На следующий день после кассации, 8 сентября в середине дня, часа в два, я поехала в ОВД отвозить документы о том, что я прошу вернуть мне забранные у меня на обыске вещи, в частности приемник, пишущую машинку, магнитофон и прочее, и разрешить мне поездку в Москву за вещами, иначе получается, что я приговорена не только к ссылке, но и к конфискации имущества, поскольку я не имею к нему доступа.

По дороге меня остановило ГАИ — я не поняла, почему. Когда я прижалась к бордюру, из машины, которая ехала за мной (на этот раз одна черная «Волга»), вышла женщина в белом халате. Я узнала медсестру, которая всегда ухаживала за нами,— единственная медсестра, которую допускали, когда мы лежали в больнице после голодовки за Лизу и когда я была с Андреем в больнице, где он лежал с ногой. Ее зовут Валя. Она сказала: «Елена Георгиевна, вас просят к пяти часам вечера приехать в больницу к главврачу Олегу Александровичу Обухову». Я спросила, как Андрей Дмитриевич. Она мне сказала: «Я ничего не знаю» — и вернулась к своей «Волге».

Я доехала до ОВД, отдала свое заявление. Потом купила хлеба и еще чего-то на рынке, но немного, потому что было уже поздно, четыре часа, а рынок в это время уже очень бедный, почти пустой, и поехала в больницу.

В больнице, в кабинете Обухова, кроме него, были профессор Вагралик, кардиолог, который пользовал, если можно так сказать, нас с Андреем во время голодовки за Лизу (это он ходил и к нему, и ко мне в разные больницы и на наши вопросы друг о друге говорил, что он ничего не знает), профессор Трошин, невропатолог, Наталья Михайловна Евдокимова, лечащий врач Андрея Дмитриевича, Обухов и еще кто-то, не помню кто.

Они хором начали мне говорить, какое плохое состояние здоровья у Андрея Дмитриевича, что он находится буквально на краю гибели, что у него тяжелая экстрасистолия, что он страдает тяжелым атеросклерозом сосудов головного мозга, что у него то ли болезнь Паркинсона, то ли явления паркинсонизма. На мой прямой вопрос: «Так Паркинсон или явления?» — мне не ответили. И что я не должна волновать его и чуть ли должна не рассказывать о том, что был суд, или еще что-нибудь.

Я на них кричала, что если бы они были врачи, то понимали бы, что человека с таким состоянием здоровья нельзя четыре месяца держать в изоляции от единственного близкого человека — жены, что они подумали бы, как изменить его положение, а то, что они мне говорят, это чепуха. Они давали дигиталис и этим привели к тяжелым экстрасистолиям, и это единственное, что я не считаю их намеренным действием, а просто, я сказала, «со страха перед ГБ потеряли голову». Все остальное, что они делали с Сахаровым,— это преступление. Это я сказала, еще не зная, что были пытки и унижения насильственного кормления и к чему оно привело. В общем, у нас был совсем не дружественный разговор, после чего я вышла к машине. Провожал меня Обухов. Не знаю, на какую мою реплику он ответил мне стихами Пушкина, в которых проскользнуло некое, так сказать, сочувствие мне и что он вроде бы не виноват, а таковы обстоятельства. Я, идя по лестнице вниз, все продолжала ругать уже неизвестно кого и, в частности, своих судей. Вдруг Обухов сказал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Я ему ответила: «Ах, вот вы какой образованный и не только на все подлости, что делаете, но и на поэзию». Он ничего не ответил. Вообще после неоднократных скандалов с ним (а как я могу быть ужасна на язык, знают лучше всех мои близкие) он всегда при следующем контакте делал вид, что ничего никогда не было.

Вышла я от Обухова, села в машину, сижу и жду. Прошло минут 15, и та же медсестра Валя ведет Андрюшу. Он в том же светлом пальто, в каком его увезли тогда в начале мая в больницу из прокуратуры, в своем беретике, не похудевший, скорее одутловатый. Мы обнялись, и Андрюша заплакал, и я тоже. Сели в машину. Я не могу двигаться, сидим и плачем, обнявшись. Так прошло минут двадцать.

Потом Андрей стал меня спрашивать про суд. Ну, я ему «кратко и подробно» (А. Твардовский) все рассказала. Собственно говоря, что рассказывать. Приговор, и все. Подробности потом *.

Выехали мы из больницы. Поехали по окружной дороге, там есть такая горка, с которой видно Волгу, остановились на этой горке, стояли и молчали. А потом начал рассказывать Андрей. Я не буду за него рассказывать. Он все рассказал сам: и что с ним было и как. Я расскажу из того, что было с Андреем, только то, что он не рассказал в своем письме Александрову, не придавая этому значения, да и я стала придавать этому значение, только узнав здесь на Западе, какие известия о нас были и какие разговоры здесь шли из Москвы.<...>

...Что произошло во время первого принудительного кормления, Андрей описал сам. Я была не права, когда думала, что Андрей снял голодовку 21 или 22 мая, в дни, когда ко мне приходили за зубами. Он снял голодовку 29 мая. Почему он ее снял, он объяснить мне не мог. Но в письме Александрову он объясняет, что не выдержал мучений. Я думаю, что это наиболее правильное объяснение. Действительно, я была права, когда не отдавала зубы и очки, считая, что была записка от Андрея. Записка была, и мне ее не передали, так как это был период, когда у него был совершенно патологический после инсульта (или спазма?) почерк и когда у него в отдельных словах повторялись буквы. Видимо, мне не хотели показать эту записку, полагая совершенно справедливо, что по ней я пойму, как плохо с Андреем.<...>

Андрюше тоже отдавали далеко не все мои записки. Он это понимал. Свои записки, копии, он оставлял. Кроме того, он вел дневник, и странно, но этот дневник у него не отобрали. Придя из госпиталя, он дал мне его читать. Там зафиксировано все, что с ним было. И как его травили разговорами о том, что у него болезнь Паркинсона, и главврач принес ему книжку про Паркинсона и говорил, что у него «Паркинсон от голодовок». И что «вы будете полным инвалидом и даже сами себе штанов расстегнуть не сможете». И такие фразы: «Умереть мы вам не дадим, но инвалидом сделаем»,— говорил Обухов.

Исходя из рассказов Андрея, из тех остаточных явлений, которые у него были в сентябре, частично остались (это некие самопроизвольные движения нижней челюсти), я думаю, что он перенес инсульт, в лучшем случае — тяжелый спазм.

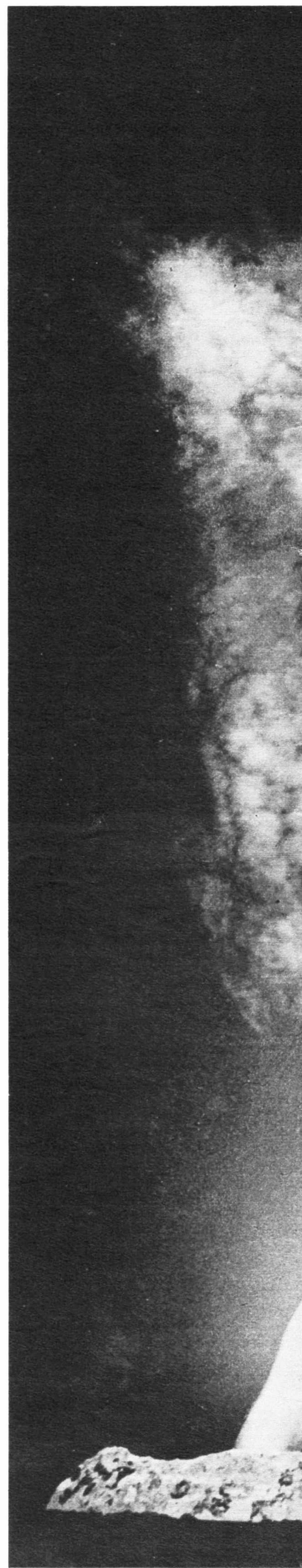
Когда Андрюша вернулся домой, у него состояние было довольно странное. С одной стороны, он очень радовался, что мы вместе: мы буквально ни на минуту не расставались, ходили друг за другом даже в ванную. А с другой — он почти с первого дня начал грызть себя за то, что не выдержал голодовки и что второй раз, когда он пригрозил начать голодовку, 7 сентября, его сразу выписали и он отказался продолжать голодовку, не в силах не видеть меня еще Бог знает сколько времени. В общем, настроение у него было сложное, скорее нерадостное. А когда я ему говорила, что надо учиться проигрывать, он говорил: «Я не хочу этому учиться, я должен учиться достойно умирать». Он все время повторял: «Как ты не понимаешь, я голодаю не только за твою поездку и не столько за твою поездку, сколько за свое окно в мир. Они хотят сделать меня живым трупом. Ты сохраняла меня живым, давая связь с миром. Они хотят это пресечь».

* В этот период Е. Г. Боннэр была приговорена к 5 годам ссылки. Подробнее см. журнал «Смена» № 1, 1990 г.

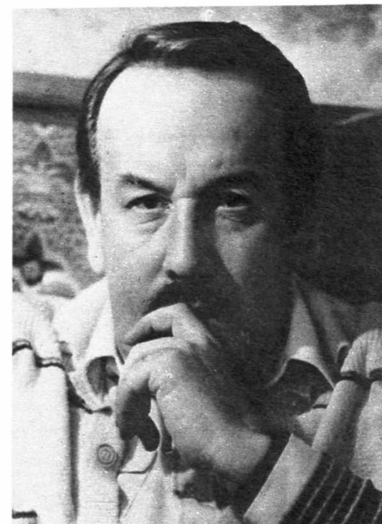
А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр, сфотографированные в Горьком после окончания голодовки академика Сахарова, 25 октября 1985 года.



ИНЕРЦИЯ



ПОСЛЕ УРОКОВ



С драматургом Александром Мишариным, автором сценария фильма «Зеркало», пьес «Серебряная свадьба», «Равняется четырем Франциям» и других, беседует наш корреспондент Ирина Малярова.

— Вернувшись из Италии после общения с Тарковским, Антониони, Феллини, вы признавались, что на родине почувствовали себя как в колонии для малолетних преступников. Еще не стерлось это впечатление?

— Оно свежо. Я боюсь ехать туда еще, потому что самое страшное — вернувшись, снова ужаснуться: разве можно жить так, как живем мы? Конечно, со временем это ощущение тускнеет, но лучше на Запад вообще не ездить. Впрочем, и без всякой Италии в нас нетрудно узнать опьяненных внезапной свободой, растерянных, озлобленных, все крушащих на своем пути вчерашних зеков (и сам я такой же, может быть, только по инерции чищу зубы и пришиваю белый воротничок). И высший орган законодательной власти, подхваченный этой волной разрушения, не видит пределов самому процессу разрушения, как и не может рассчитать запасов прочности переделываемого общества, государства, личности.

Статистика самоубийств угнетает. Раньше кончали с собой люди среднего поколения, сегодня уходят из жизни и восемнадцатилетние, и подростки. Образ юного самоубийцы не дает мне покоя... Трагические периоды жизни общества вообще как-то связаны с легкомыслием — и человеческим, и общественным. Жизнь — своя и чужая — обесценивается. Отношение к смерти в литературе, искусстве, публицистике стало будничным, бесстрастным. То и дело слышишь: «В сталинских лагерях погибло шестьдесят миллионов человек.— Нет, пятьдесят шесть...— В Великой Отечественной — двадцать миллионов...— Нет, побольше...» Что за чудовищная арифметика? Кем мы стали?! Когда-то Андрон Кончаловский рассказывал мне о замысле фильма про Чингисхана. Чингисхан из простого воина становится великим ханом Монгольской империи и в какой-то момент понимает, что война не самое лучшее занятие, что надо осваивать уже завоеванные земли. Но каждое утро, выходя из шатра, он видит войско, которое ждет только одного приказа: «Вперед!» И вот он умер, но войско каждое утро подходит к шатру и требует все той же команды: «Вперед!» То же самое, очевидно, и в нашем азиатском характере: вперед! Давайте разберемся — «вперед» куда? В хвост капитализму? Сейчас, когда толпа стала более организованной и политизированной, люди стремятся стать толпой и объединяются, как правило, под простейшими, популистскими знаменами. От «Вперед к Швеции!» до «Назад к монархии!».

Но, повторяю, толпа — не народ. А путь к народу, к тому искомому народу, которым клянутся и левые и правые, лежит или через великие потрясения, или через великое таинство. А пока, к сожалению, у простых людей их еле нарождающиеся мысли, потребность в самоуглублении — эти первые ростки самосознания — тут же вытравляются мощным напором не только неискренних, но порой и спекулятивных стереотипов и клише. Прислушайтесь к разговорам в очередях — всё там. Не только на площади Пушкина, у «Московских новостей».

— Монтескье говорил, что один из основных принципов деспотического государства состоит в том, что там никогда не следует изменять нравы и обычаи во избежание революции. В этих государствах, так сказать, совсем нет законов. Там есть только обычаи и нравы. Разрушив их, вы разрушите все.

— Сегодня необходимо быть очень осторожными, поскольку сам народ охвачен инерцией разрушения. Наверное, недаром так часто на заседаниях Верховного Совета мы слышим это слово «цивилизованный» как качество искомое, еще не найденное.

Не будем лишний раз рвать на себе рубаху, что страну Пушкина и Вернадского, Толстого и Мечникова, Пастернака и Капицы можно сегодня и со всеми основаниями назвать обществом нецивилизованным. Поскольку цивилизованное общество создается не скачками, не призывами, а естественным движением духовного развития народа.

У аристократов Толстого и интеллигентов Чехова, у разночинцев Чернышевского и изгоев Набокова, у люмпенов Горького и у булгаковского профессора Преображенского, как и у бунинского Арсеньева или шолоховского Мелехова, при всем различии систем их координат есть общее — христианская мораль. Мы должны отчетливо понимать крушение этой морали. Поэтому, когда современный театр или литература взывают о катарсисе, это наивно. Божественное очищение может произойти только с человеком, приобщенным к эсхатологическим таинствам. К таинствам вообще. «Новый человек» чужд им. Для человека уникальной формации, сформированного семьюдесятью годами душевной (и не только) несвободы, космические идеи бессмертия могут присутствовать лишь как сумма знаний, случайно или волей приобретенных.

Фото Андрея ЛАШКОВА

Василий Розанов писал, что в России на каждую сотню людей всегда есть один порядочный человек. На тысячу человек наберется десяток. Встречаются вообще удивительные люди. Но ведь это все от Христа, а не от Герцена! Оставим Розанову его вечный спор с Герценом. Но для Розанова Герцен не только «малоприятный господин», а один из тех разрушителей тончайшего, накапливающегося веками слоя верующих и думающих не только умом, но и сердцем, которые в конце концов и составляют, уходя в глубь нации, так называемый «цивилизованный» народ. Поэтому рассматривать процессы, происходящие в нашем обществе, процессы личности, нравственного начала мы должны в контексте развития самой мощной идеи последних тысячелетий — идеи христианства.

— Видимо, с утратой этой идеи из нашей жизни ушло то противоборство, о котором вы однажды говорили как о важнейшем аспекте культуры,— противоборство нравственного закона и страсти?

— Конечно, поэтому к нашему «новому человеку», «человеку советскому» трудно приложить понятие «страсть» в божественном, античном или просто онтологическом значении, которое именно так определялось и опаляло нас в русской литературе XIX века. Мы сегодня, пожалуй, не найдем для него простого, жизненного примера. Наши страсти снизились до чванства, обжорства, похоти. Но речь-то идет о страсти как о вершине человеческого бытия, с одной стороны... и как прельщении, пути гибели человеческого в человеке — с другой.

В откровениях Иоанна Богослова — Апокалипсисе — книге, казалось бы, конца света, можно прочитать именно этот смысл. В последнее время в связи с Чернобылем и иными трагедиями мы вычитываем, вырываем из контекста именно это значение. Оно удобно, как удобна любая цитата, над которой не хочется задумываться всерьез.

Но нельзя забывать, что Апокалипсис — это в первую очередь книга надежды, грядущего света. В Апокалипсисе, в откровениях Иоанна Богослова возникает не только образ Антихриста, но и Спасителя. Хотя Антихрист с его обещаниями и прельщениями удобен для нас. Сильный и обольстительный, он придет и даст нам блага и преуспеяние, покой и удовлетворение всех мирских потребностей, не потребует за это ни мук мятущейся души, ни высокого, а иногда и тяжкого труда, ни горя и страданий... Тот же, кто принесет нам бесчисленные страдания, поднимет нашу душу до осознания ее самоценности, Спаситель — это и есть нравственный закон. Со времени зарождения христианства нравственный закон — соответствие человека божественному замыслу — стал его душевным каркасом. Утрата христианской идеи обессмыслила наше прошлое и лишила нас будущего в его космическом понимании. Да и в обыденном смысле, пожалуй, тоже. Наше общество как бы не рассчитано на следующие поколения. Нам нечего сказать этим поколениям. Мы заменили христианские, нравственные нормы социальными и сейчас перечеркиваем свою собственную жизнь, что напоминает разрывание могил своих отцов и оплевывание их останков. Не потому ли мы видим сегодня такие яркие доказательства разрушения христианской морали: агрессию, страх, самоубийства, убийства — то, что Лев Аннинский правильно назвал «невменяемостью толпы», невменяемостью сознания?

— Вы знаете, я могу предположить, что в условиях всеобщего дефицита, и как следствие — ежедневного, ежечасного унижения человеческого достоинства, трудно ожидать каких-то других реакций...

— Конечно, это реальность нашей жизни — практически каждую минуту ловишь себя на мысли: то нельзя, это нельзя. Но дело не в желудке, не в изобилии тех или иных товаров, а в урезанности свободы. Здесь проявляется и другое — бесчестие твоего труда. Потому что, если ты имеешь деньги, которые в первую очередь эквивалент труда, а потратить их так, как хочешь, не можешь, значит, этот труд никому не нужен. Да, постоянный дефицит — одно из сильных звеньев в цепи унижений, которые свойственны человеку в нашем обществе. Хотя, строго говоря, соотношение человека и общества — всегда система унижений. Но даже в наших обстоятельствах не грех вспомнить о другой системе, системе самоограничения, которую мы, озверевшие, «невменяемые», не можем даже понять. А система эта была одним из главных духовных принципов русской демократической интеллигенции. И я говорю не о колбасе.

Анна Андреевна Ахматова могла ходить в рубище, жить в нетопленой квартире зимой, питаться морковью, и от этого в ее духовной жизни ничего не менялось. Но для того чтобы возникла такая Анна Андреевна, потребовалась, извините, селекция нескольких дворянских, интеллигентских, христианских поколений...

Андрей Тарковский вырос в такой нищей семье, что и представить себе невозможно. Но как раз из этой жизни он смог вынести не только богатейшее образование и душевную потребность в культуре, но и стать ее аккумулятором, перекинуть мостик от классической русской культуры в сегодняшний день, прозвучать во всю мощь и у нас, и на Западе... И не поступиться ничем.

— В сегодняшних процессах вы отдаете решающее слово интеллигенции?

— Самое опасное — выделять себя и себе подобных в особую, как бы нравственно стерильную когорту. Просто интеллигенция — это социальная группа, которая по своей природе вынуждена была бросаться на любую общественную амбразуру. Когда не было врачей, писатель Чехов шел лечить людей. Когда не хватает политических деятелей, поэт, писатель или ученый становится политическим деятелем. Но надо понять, что интеллигенция сама по себе достаточно саморазвивающийся организм, который живет по законам, не свойственным большинству народа. Это люди, оперирующие понятиями абстрактными, бесконечными, которым всегда неуютно в существующем мире. У Чехова есть хорошая фраза о том, что есть разряд людей, которые вынуждены отказаться от человеческой боли,— жандарм, судья, врач, иначе они просто не могли бы работать, у них повышен болевой порог. У интеллигенции, наоборот, понижен.

Да, интеллигент может полностью не совпадать с законами, существующими в обществе, может идти впереди них. Интеллигент одновременно и объект мира, и субъект по отношению к осмыслению этого мира. Он не может жить чужими мнениями. Все свои проблемы он решает субъективно. Главное же его занятие — общение с самим собой. И русский интеллигент так всегда и жил, как закрытая система. Но если один человек воспринимает другого именно как целую систему, только тогда и есть смысл начинать диалог.

— От первого семейного романа «Карьера» и до последних пьес вы последовательно исследуете «микромир» семьи, личности, избегая «макрообобщений». Значит ли это, что мир души вам интереснее, чем общественные процессы, или претит ставшая уже модной, расхожей публицистичность литературы?

— К сожалению, в России повелось: так сильно прислушиваются к мнению художников и писателей, что я, со своей стороны, боюсь притронуться к происходящим сегодня катастрофическим процессам, это безответственно. Поэтому я могу говорить только о таком же человеке, как я, в надежде, что кто-то меня услышит. Но, конечно, ошибка думать, что камерная, психологическая литература исследует некоего лабораторного человека. Литература, как и любое искусство,— форма организации жизни. И проза, и поэзия, и драматургия — это всегда настроение, градус жизни общества. И ощущение крайней общественной нестабильности должно быть выброшено литературой гораздо раньше, чем публицистикой. Например, мой роман «Карьера» прежде всего, вы правы, семейный, биографический. Но судьба дворянской семьи с начала века до агонии брежневской власти — это и трагедия общества. Кроме того, мне хотелось выразить ощущение, которое должно быть свойственно любому русскому,— желание радостно служить своему народу. Во времена моей молодости, а я отношу себя к шестидесятникам, мы часто обсуждали вопрос: где точка наиболее полного приложения сил «интеллигентного человека». А по воспоминаниям домашних, у дворян как у сословия этот вопрос никогда не возникал, они рождались для службы: военной, дипломатической или духовной. Вне службы было просто нельзя.

— Я не ошибаюсь, обнаруживая знак равенства, который вы ставите между «дворянином» и «интеллигентом»?

— Я вынес эту аналогию из детства. Там эти понятия совпадали. С детства помню ощущение утра, как начала бессмертия, начала жизни. Это ощущение довольно долго оставалось в кругу людей, в котором я рос, с кем общался. А потом ясность, утренность жизни незаметно исчезали. Как каждодневно, методично уходили понятия о добре и зле, чести и бесчестии, обо всем, что составляло основу тех людей. Мои родные очень долго не могли понять, почему я не люблю «12 стульев» Ильфа и Петрова. Потому что нельзя смеяться над тем, как уничтожалось русское дворянство! Киса Воробьянинов — это же трагическая фигура!

— Ваш роман — это тоска по ушедшим временам?

— Для меня было бы неприлично обращаться к людям с такой темой. Нет, это повествование о культуре людей, которые создавали, каждый по-своему, меня... И о власти, о ее великом и обманном соблазне... Но, с другой стороны, это роман о человеческом достоинстве. Для нас сегодня это скорее абстрактное понятие. И, возможно,не стоит нас за это строго судить. Но существуют высшие примеры: Шостакович, Ахматова, Тарковский, Шаламов, Солженицын. Разве не были их поступки да и вся жизнь равны старинному понятию: «Легче умереть, чем потерять достоинство»?

— Дело дошло до того, что примеры достоинства, достойной жизни мы беремся перечислить, и пальцев, пожалуй, хватает... Не потому ли тоталитарный признак так устойчив, что нравственные основы: достоинство, честь, добро, зло, уважение, презрение, позор, почет — как бы вышли за пределы здорового «Я», а если и сохранили себя, то лишь как понятие коллективное, групповое, но, увы, не индивидуальное?

— Думаю, наоборот: разрушению — и души в том числе — тоталитаризм предшествует. Часто говорят: «Сильный центр — сильные республики». Но для меня сначала глубокий, сильный, если хотите, святой человек, а потом сильное государство, республики, мир. Что угодно. Ибо если каждый отдельный человек, его устремления, его нравственность, человеческое и гражданское достоинство равны нулю, то сколько эти нули ни складывай, в конечном результате общество, его духовный потенциал будут никак не больше нуля.

— Вы сказали «сильный» в смысле «святой»?

— Да. Сильный для меня означает нравственно и духовно полноценный.

— Где же он? Мы вот все боремся за восстановление того духовного наследия, которое было разрушено, той духовной традиции, которая всегда питала силы русского человека. А ведь культура не востребуется. Несколько ныне живущих поколений не ощущают потребности в ней, ограничиваясь или модой, или конъюнктурой...

— Вы замечали, как дети играют в семью? Они изображают свой собственный дом. Дети представляют счастье так, как живут их родители. Постепенно происходило смещение, мы все стали играть в счастье не своего дома, а директора комиссионного магазина. И все-таки главное в другом — может быть, у внуков накопителя возникнет потребность прочитать собранные им как символ престижа книги. И это искупит, наполнит сегодняшний процесс материального собирания другим смыслом. Уничтожение, разрушение культуры отодвигает ту жизнь, которая для человека нормальна. Так же, как война уничтожает поколение, которое могло родиться. Но рождается следующее. Для него и поднимают из разрухи и жилища, и школы, и обсерватории, и храмы.

Путь наш лежит как бы в разновекторных направлениях. С одной стороны, в приобщении к подлинным отечественным христианским таинствам, а с другой — в огромном созидательном труде души, мысли, рук человеческих в иных жизненных условиях. Иных!

Мы написали за семьдесят лет много кодексов и декретов, я не предлагаю новый. Я хочу только, чтобы оставшаяся отечественная интеллигенция, хотя бы из глубины генетического сознания, из великой собственной истории, вспомнила самые простые демократические правила.

Стыдно, если ты лезешь на место, на которое имеет большее право другой человек.

Неудобно, даже душевно неопрятно, если твоя жена обвешана бриллиантами, когда половина народа живет за чертой нищеты.

Человеку дóлжно платить деньги, чтобы он имел возможность свободно мыслить, поскольку бесконечное требует ежеминутных, постоянных размышлений.

Мы боимся посмотреть на себя в Зеркало — для взрослого человека это затянувшееся легкомыслие. Ибо ноша наша гораздо более велика, чем мы даже можем предполагать, ибо она за пределами экономико-политических проблем. Она в воссоединении Времен и Смыслов.

Я часто повторяю себе и своим близким: «Иди домой и ничего не жди».

Все равно надо начинать с себя. С самого себя... И не ждать легких плодов и тучных нив.

Иметь мужество и достоинство смотреть жизни в лицо.

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

ШПИОН, КОТОРЫЙ ВЕРНУЛСЯ С ХОЛОДА

РОМАН

ПРИГЛАШЕНИЕ

Лиза смотрела на письмо из ЦК партии и удивлялась: что бы это все значило? Письмо казалось ей загадочным. Лестно, конечно, но почему они сначала не посоветовались с ней? Интересно, это районный комитет назвал ее имя или центр сам ее выбрал? Но, насколько ей известно, в ЦК ее никто не знал. Ей, правда, приходилось встречаться с разными ораторами и даже здороваться за руку с партийными руководителями на районной конференции. Возможно, о ней вспомнил тот человек из сектора культуры. Любезный такой, несколько женоподобный. Эйш его фамилия. Он явно проявлял к ней интерес, возможно, он и назвал ее фамилию или вспомнил о ней, когда выделяли деньги на поездку. Странный он какой-то. После собрания пригласил в кафе, спрашивал о ее поклонниках. Не то чтобы он в нее влюбился, или что-нибудь такое — нет, он в этом отношении, видимо, вообще сомнительный тип,— но вопросами так и сыпал. Как давно она в партии, тоскует ли по дому, живя вдали от родителей, много ли у нее поклонников или есть кто-нибудь один, кем она увлечена... Интересным человеком он ей не показался, но разговор поддерживать умеет: Германская Демократическая Республика — государство рабочих; кого можно считать рабочим-поэтом — и все в таком духе. Восточную Европу, безусловно, знает хорошо, видимо, много там бывал. Она считала, что он школьный учитель: наставительный тон, доходчивая манера объяснять. А когда проводился сбор средств в фонд борьбы, Эйш внес один фунт — Лиза онемела от удивления. Нет, сомнений быть не может — о ней вспомнил этот самый Эйш. Он, видимо, сказал кому-то в лондонском окружном комитете, оттуда передали в центр — словом, как-нибудь так. Странный способ действий, но у партии всегда какие-то секреты. Наверное, думала она, это неотъемлемое свойство революционной партии. Лизе не нравилась эта атмосфера чуть ли не заговора, она в ней видела что-то нечестное, но предполагала, что так нужно, и, видит Бог, как много людей получали от этого удовольствие.

Лиза снова перечитала письмо. Оно было написано на бланке ЦК и начиналось словами: «Дорогой товарищ». Для Лизы это обращение отдавало военщиной, а она ее терпеть не могла. В ее лексиконе и слов таких не было.

«Дорогой товарищ,

Недавно мы имели беседу с нашими товарищами из Объединенной Социалистической Партии ГДР по вопросу об обмене опытом между членами нашей партии и членами ОСП. Есть предложение заложить основы по обмену опытом на уровне активистов обеих партий. ОСП понимает, что дискриминация со стороны британских властей помешает их делегатам прибыть в ближайшем будущем в Англию, и видит тем больше оснований установить обмен опытом. Они любезно предложили нам выделить пять наших секретарей ячеек, имеющих опыт в работе по подъему активности широких масс. Каждый выделенный товарищ проведет три недели в ГДР, изучая работу в их первичных ячейках, знакомясь с достижениями в области промышленности, с ростом благосостояния масс, увидит воочию, какие фашистские провокации устраивает Запад. Для наших товарищей чрезвычайно полезно перенять опыт молодого социалистического государства. Поэтому мы попросили ЦК выдвинуть кандидатуры тех товарищей, которые смогут добиться максимальных успехов в этой поездке. Была выдвинута твоя кандидатура. Если ты располагаешь возможностью, просим тебя поехать и установить контакт с партийной ячейкой в ГДР, чьи члены заняты в сходных отраслях промышленности, имеют те же проблемы, что и наши товарищи. Мы предлагаем твоему звену стать побратимом с партийным звеном в Ноенхагене (предместье Лейпцига). Фреда Люман, секретарь ноенхагенской ячейки, готовит дружеский и горячий прием. Мы уверены, что ты с честью выполнишь партийное поручение и добьешься больших успехов. Все расходы берет на себя сектор культуры ОСП.

Мы также уверены, что ты понимаешь, какая честь выпала на твою долю, и никакие личные мотивы не помешают тебе выполнить твой партийный долг. Поездка состоится в конце следующего месяца, числа 23-го, но каждый из выделенных товарищей поедет отдельно, так как даты приглашений не совпадают. Просим сообщить нам как можно скорее твое решение, после чего мы введем тебя в курс организационных деталей».

Чем больше она читала это письмо, тем более странным оно ей казалось. Прежде всего очень мало времени остается до названного срока. Откуда они знают, что ее отпустят из библиотеки? Она вдруг вспомнила, к своему удивлению, что Эйш спрашивал ее, как она проводит отпуск, брала ли она его уже в этом году, за сколько времени она должна предупредить на работе, чтобы ее отпустили. А почему ей не сообщают, кто еще выделен? Конечно, в этом нет необходимости, а все-таки странно. И потом письмо такое длинное... В ЦК всегда не хватает секретарш, и они обычно пишут всего несколько строк или просят позвонить. А это письмо такое подробное, так хорошо напечатано, как будто оно вообще не из ЦК. Но стоит подпись ответственного за сектор культуры. Это, безусловно, его подпись. Она ее видела много раз. Да и стиль письма не оставляет сомнений — казенный, тяжеловесный, не то бюрократический, не то миссионерский. Она к нему уже привыкла, хотя терпеть не могла. «Она имеет опыт в работе по подъему активности широких масс». Как только придумали такую чушь! Когда это она «проделывала» такую работу? Она ненавидела всю эту часть — ораторы у заводских ворот, продажа «Daily Worker» на углах, хождение из дома в дом перед местными выборами. Против борьбы за мир она не возражала, наоборот, она видела в ней смысл. Идешь по улице, видишь малышей, молодых матерей с колясками, стариков у подъездов, и можно себе сказать: «Ради них!» Ради них стоит бороться. Но бороться за успех на выборах или за продажу газет — нет, это не по ней. Может, потому, что в этом есть что-то унизительное. Все очень просто, когда на собрании двенадцать членов ячейки строят новый мир, шагают в авангарде социализма и доказывают невозможность повернуть историю вспять. Но после собрания, когда она выходит на улицу с пачкой «Daily Worker» и простаивает часами, чтобы продать одну газету... Иногда она обманывала, как, впрочем, и другие: платила за дюжину газет сама, чтобы поскорее вернуться домой. На последнем собрании они хвастали (забыв, что покупают у самих себя): «В субботу вечером товарищ Голд продала восемнадцать газет. Восемнадцать!» Это было зарегистрировано в протоколе собрания и отмечено в бюллетене ячейки. В районном комитете, должно быть, потирали руки и, возможно, внесли ее фамилию на первую страницу списка тех, кто собирает средства в фонд борьбы. Мир так тесен, а она так хотела, чтобы люди были честнее, но ведь и она лгала самой себе. Возможно, и они себе лгут. А может быть, другие понимают, почему нужно лгать?

Как странно, что ее назначили секретарем ячейки. Это Маллиган предложил... «Наш молодой, надежный и... очаровательный товарищ»... Наверно, считал, что она будет с ним жить, если он ее сделает секретарем. Другие голосовали за нее, потому что симпатизировали ей и потому что она умеет печатать на машинке. Она, наверное, будет работать и не станет посылать их к избирателям по субботам. По крайней мере не так часто. А еще они голосовали за нее потому, что им хотелось, чтобы их ячейка была маленьким приличным клубом, приятным и революционным, без шума и суеты. Какая фальшь! Алек, видимо, это понимал, но просто не принимал всерьез. «Одни разводят канареек, другие вступают в партию»,— однажды сказал он и был прав. Во всяком случае, применительно к их ячейке. И райком об этом прекрасно знал. Вот почему так странно, что ее выделили для этой поездки. Вот почему ей так трудно поверить, что райком для этого хоть пальцем шевельнул. Нет, все сделал Эйш — никаких сомнений. Может, он к ней неравнодушен, может, он только кажется таким, а на самом деле он нормальный мужчина. Лиза передернула плечами, как делают люди, когда возбуждены и вокруг никого нет. Как бы там ни было, интересно съездить за границу, переменить обстановку. Она никогда не бывала за границей, и, конечно же, такая поездка ей не по карману. А тут предлагают бесплатно. У нее, правда, были предубеждения против немцев. Западная Германия, говорили ей, милитаристская и реваншистская страна, а Восточная Германия — демократическая и борется за мир. Трудно представить себе, что по одну сторону хорошие немцы, а по другую — плохие. Немцы, которые убили ее отца, точно были плохими. А может быть, именно потому, что она пострадала от немцев, партия ее и выбрала. В знак утешения. Возможно, потому Эйш и спрашивал о ее родителях. Конечно! Вот где крылось объяснение! Она вдруг почувствовала прилив горячей благодарности. В партии действительно приличные люди; не говоря уже о благодарности, она гордится тем, что принадлежит к ним. Лиза подошла к столу, открыла ящик и достала из старой школьной сумки бланк ячейки. Заложив его в старый «Ундервуд» (ей прислали машинку из района, когда узнали, что она умеет печатать. Буквы немного прыгали, но в остальном машинка была хорошей), она напечатала ответ, в котором сообщала о своем согласии и благодарила за оказанное доверие. ЦК — все-таки замечательная организация. Люди там строгие, доброжелательные, объективные. Хорошие люди! Борцы за мир! Нет, ЦК будет существовать вечно.

Закрыв ящик, она заметила на столе визитную карточку Смили.

Маленький человек с серьезным морщинистым лицом. Он стоял вот здесь у дверей и спрашивал: «Партия знает о вашей связи с Алеком?» Какой же глупой она была! Ладно, поездка ее отвлечет.

АРЕСТ

Остальную часть пути Фидлер и Лимас проехали молча. Раскрыв черные пасти пещер, их провожали мглистые холмы. Редкие отблески света, как далекие огни кораблей, лихорадочно боролись с неумолимо надвигавшейся темнотой.

Фидлер поставил машину, и они вместе направились к дому. Вдруг, когда они были уже почти у проходной будки, раздался оклик: «Фидлер, Фидлер!»

Оба оглянулись, и Лимас разглядел людей, стоявших ярдах в двадцати от деревьев и, видимо, поджидавших Фидлера.

— Что вам нужно? — крикнул им Фидлер.

— Поговорить с вами. Мы из Берлина.

Фидлер медлил.

— Куда делись чертовы охранники? — спросил он Лимаса.— У дверей должны стоять часовые.

Лимас пожал плечами.

— Почему в гостиной не горит свет? — снова спросил Фидлер и неуверенным шагом медленно направился к поджидавшим его людям.

Лимас постоял немного — никто его не позвал, и он пошел к входу. К задней стене дома была пристроена небольшая хибарка, скрытая со всех сторон густо посаженными молодыми соснами. Она была разделена на три смежные комнаты без коридора. Первую от дома занимали охранники, вторую — Лимас, а кто занимал третью, Лимас не знал. Однажды он попробовал открыть в нее дверь — заперта. Он, правда, знал, что эта комната тоже отведена под спальню: когда ранним утром он вышел на прогулку и неизменно следовавшие за ним ярдах в пятидесяти охранники не успели еще обогнуть хи-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 15—20.



Рисунок Вячеслава ЛОСЕВА.

барку, он заглянул через узкую щелку между кружевными занавесками в окно и увидел застеленную кровать и маленький письменный стол с бумагами на нем. Лимас подумал, что тот, кто занимает эту третью комнату, с пресловутой немецкой скрупулезностью наблюдает за ним. Но Лимас был слишком тертым калачом, чтобы позволить себе беспокоиться по этому поводу. В Берлине слежка была для него делом житейским. Если не можешь избавиться от своих хвостов — тем хуже для тебя. Значит, одно из двух: либо они слишком хитрые, либо ты уже никуда не годишься. Обычно Лимасу удавалось от них отделаться. При его наблюдательности и отличной памяти он с ними справлялся: знал их тактические приемы, их слабые места — словом, собаку съел на этом деле. Но сейчас, проходя через комнату охранников, он сразу же почуял что-то неладное и остановился.

Свет в пристройке зажигался где-то на центральном щите. Его включала и выключала невидимая рука. По утрам Лимас часто просыпался от яркого света, бьющего в глаза, над головой вдруг зажигалась лампочка. Вечерами укладывался в постель раньше, чем хотелось спать, только потому, что гас свет. Сейчас было часов девять, не больше, а свет уже погасили, хотя обычно он горел до одиннадцати. И ставни закрыли. Лимас оставил внутреннюю дверь открытой и в слабом свете, проникающем из гостиной, увидел, что койки охранников пусты. Пока он удивленно осматривался, дверь за ним закрылась. Возможно, сама по себе. Однако он не попытался открыть ее снова. Она закрылась совершенно бесшумно — ни щелчка, ни шагов. Словно в кино выключили звук. Зги не видать. И пахнет сигарой. Наверно, запах чувствовался все время, но Лимас только сейчас обратил на него внимание. В темноте у него, как у слепого, обострились обоняние и осязание.

В кармане лежали спички, но он ими не воспользовался. Он сделал шаг в сторону, прислонился к стене и замер. Одно Лимасу было очевидно: они ждут, чтобы он прошел из комнаты охранников в свою. Поэтому он решил остаться там, где стоял. Вскоре в главном здании, откуда он только что пришел, послышались шаги. Кто-то подошел к закрытой двери и запер ее на замок. Лимас не шевелился. Пока не шевелился. Никаких сомнений: он в ловушке. Медленно-медленно присел он на корточки и опустил руку в боковой карман куртки. Лимас был спокоен, ему даже стало легче от необходимости действовать, а в памяти стучало: «Почти всегда какое-нибудь оружие да найдется: пепельница, две монеты, ручка — что угодно режущее или колющее». Излюбленная формула маленького сержанта, который был в том заведении под Оксфордом во время войны. «Никогда не орудуйте обеими руками сразу, ни против ножа, ни против палки, ни против пистолета. Левая рука должна быть свободной и лежать на животе. Если уж совсем нет ничего подходящего, чем бы ударить, растопырьте пальцы и напрягите ладонь». Взяв коробку спичек в правую руку, Лимас раздавил ее так, что острые концы торчали между пальцами. Затем он начал продвигаться вдоль стены, пока не добрался до стула, который, он знал, стоял в углу. Схватив стул, он выдвинул его на средину комнаты, не обращая уже внимания на то, что поднимает шум, и, отсчитывая шаги, вернулся в тот угол, где только что стоял стул. Тотчас же резко распахнулась дверь, ведущая в его комнату. Тщетно он пытался разглядеть, кто стоит на пороге,— в его комнате тоже не было света. Кромешная тьма. Он не рискнул нападать первым. Его тактическое преимущество заключалось в том, что он знал, где стоит стул, а они — нет. Они должны подойти к нему, непременно должны! Нельзя дать им дождаться, пока зажгут свет!

— Входите, сволочи! — заорал он по-немецки.— Я здесь, в углу. Ну, хватайте меня!

Ни звука, ни малейшего движения.

— Вот я! Ну, что, не видите меня? Что, сопляки, не решаетесь?

Тут же он услышал, как один из стоявших в дверях двинулся к нему, за ним второй, и раздался поток брани: первый наткнулся на стул. Лимас только этого и ждал. Бросив коробку спичек, он медленно и очень осторожно, шаг за шагом начал пробираться вперед, выставив левую руку, как человек, раздвигающий ветки, пока не почувствовал под пальцами мягкое сукно военной формы. Плечо. Он похлопал по нему левой рукой — два раздельных хлопка — и услышал у себя над ухом испуганный шепот.

— Ганс, это ты? — спросил немец.

«Заткнись, идиот»,— прошипел Лимас в ответ, хватая его за волосы и пригибая его голову к земле. Ребром правой руки он резанул по затылку, снова оттянул голову назад, раскрытой ладонью ударил по кадыку и швырнул немца на пол. В тот момент, когда обмякшее тело рухнуло, зажегся свет.

На пороге стоял молодой капитан народной полиции с сигарой во рту, а за ним еще двое. Один в гражданской одежде, совсем юноша, с пистолетом в руке. Старого чешского образца, судя по рукоятке, промелькнуло у Лимаса. Взгляды всех троих были прикованы к человеку, лежавшему на полу. Открылась дверь, ведущая в комнату Лимаса. Лимас оглянулся посмотреть, кто там, но в тот же миг раздался крик: «Не шевелиться!» Наверно, капитан кричит, успел подумать Лимас, снова оборачиваясь к троим и держа руки по швам. Удар был сокрушительный. Казалось, раскроился череп. Насколько Лимас мог понять, теряя сознание, били пистолетом старого образца.

Лимаса разбудило пение какого-то арестанта и крик надзирателя: «Молчать!» Лимас открыл глаза. Острая боль молнией прострелила ему голову. Он неподвижно лежал с раскрытыми глазами, и перед ним плыли цветные круги. Лимас постарался понять, что с ним и где он. Ноги, как ледышки. Пахнет тюрьмой. Арестант перестал петь, и Лимасу вдруг страшно захотелось, чтобы он начал снова. Нет, не начнет... Лимас попытался поднять руку и пощупать щеку с запекшейся на ней кровью. Но руки оказались связанными за спиной. И ноги, наверное, связаны, до них кровь не доходит, потому они такие холодные. Он с трудом приподнял голову дюйма на два от пола и с удивлением увидел перед собой собственные колени. Инстинктивно попытался вытянуть ноги — боль оказалась такой, что он не сдержал жалобного вопля. Как на дыбу вздергивают. Он перестал шевелиться, стараясь превозмочь боль. Снова попытался медленно вытянуть ноги. Нет, невозможно: нестерпимая боль. Он понял: руки и ноги связаны за спиной вместе — при малейшей попытке вытянуть ноги цепь оттягивает плечи и раненую голову к каменному полу. Видно, его здорово били, пока он был без сознания, все тело в синяках и кровоподтеках, в паху острая боль. Лимас не знал, убил ли он охранника. Наверное, убил.

Над ним горела ослепительно яркая лампа. Как в операционной. Никакой мебели. Белые стены чуть ли не вплотную подступили к нему. Стальная дверь угольно-серого цвета — такой моден сейчас в солидных домах Лондона. Больше ничего. Ни одного предмета. Не на чем задержать внимание — только дикая боль.

Он, должно быть, лежит уже много часов. От лампы нестерпимый жар, и жажда мучит. Но Лимас не звал надзирателя. Наконец, открылась дверь — Мундт! Лимас его узнал по глазам. Смили рассказывал ему об этих глазах.

МУНДТ

Лимаса развязали, чтобы он встал. И действительно, ему на минуту удалось подняться, но, как только кровообращение достигло конечностей, а мышцы резко вышли из состояния застоя, он снова упал. Его оставили лежать и смотрели на него с тем равнодушием, с каким дети разглядывают насекомое. Спустя немного один из охранников отошел от Мундта и приказал Лимасу снова встать. Лимас подполз к стене и дрожащими руками схватился за нее. Он уже наполовину поднялся, когда охранник пнул его ногой, и он снова упал. Лимас предпринял новую попытку прислониться спиной к стене — на этот раз охранник дал ему удержать равновесие. Но Лимас заметил, что охранник перенес всю тяжесть своего тела на левую ногу, и понял, что правой он сейчас ударит его. Собрав остатки последних сил, Лимас ринулся на охранника и врезался головой прямо ему в лицо. Оба упали. Лимас очутился сверху. Охранник поднялся, а Лимас не смог и остался лежать, ожидая ответного удара. Но Мундт что-то сказал охраннику, и Лимас почувствовал, что его берут под мышки и за щиколотки. Он услышал, как закрылась дверь камеры, когда его вынесли в коридор. Жажда стала совсем невыносимой.

Его приволокли в небольшую, прилично обставленную комнату. Стол, кресла, на окнах с решетками полуспущенные шведские шторы. Мундт сел за стол, а Лимас опустился в кресло. Охранники стояли у дверей.

— Пить,— сказал Лимас, не поднимая прикрытых век.

Мундт налил из крана воды в кувшин и поставил на стол рядом со стаканом.

Один из охранников вышел и вскоре вернулся с кружкой супа и несколькими кусочками колбасы. Лимас ел и пил, а они молча смотрели на него.

— Где Фидлер? — спросил, наконец, Лимас.

— Арестован,— отрезал Мундт.

— За что?

— Участие в заговоре против государственной безопасности.

Лимас медленно кивнул.

— Значит, ваша взяла,— сказал он.— Когда вы его арестовали?

— Вчера вечером.

Лимас молчал, стараясь не спускать глаз с Мундта.

— А как насчет меня? — спросил он, наконец.

— Будете проходить в качестве свидетеля. Потом, конечно, и сами предстанете перед судом.

— Значит, Лондон меня втянул в дело, подстроенное против Мундта, так, что ли?

— Точно так,— кивнул Мундт и протянул охраннику зажженную сигарету, чтобы тот передал ее Лимасу.

Сердитым движением охранник сунул сигарету Лимасу в рот.

— Ловко провернули дело,— заметил Лимас и тупо добавил:— Этим китайцам ума не занимать.

Мундт ничего не сказал. Лимас уже начал привыкать к тому, что он часто молчит. У Мундта оказался приятный голос, чего Лимас никак не ожидал, но говорил он мало. Возможно, потому, что был на редкость самоуверен и, если не было необходимости сказать что-нибудь важное, предпочитал долгие паузы пустым словам. Этим он и отличался от тех, кто по своей профессии ведет допрос. Те стремятся, чтобы инициатива оставалась в их руках, чтобы была создана особая атмосфера, и широко пользуются психологической зависимостью арестанта от своих мучителей. Мундт же презирал всякие приемы — он был человек дела и действия. Лимас предпочитал как раз такую манеру.

Внешность Мундта полностью соответствовала его характеру. Атлетическая фигура, светлые, коротко стриженные волосы, моложавое лицо с тяжелыми, устрашающе правильными чертами. Ни тени юмора, ни намека на неуравновешенность. Он выглядел молодо, но солидно. Пожилые наверняка принимают его всерьез. Хорошо сложен. Костюм сидит как влитой: на такую фигуру нетрудно подобрать. Для Лимаса не составляло никакого труда понять, что он имеет дело с убийцей. У Мундта были самые необходимые качества для этого ремесла: от него веяло ледяным холодом и несокрушимой самоуверенностью.

— Второе обвинение, по которому вы предстанете перед судом, если понадобится,— добавил Мундт спокойно,— убийство.

— Значит, охранник умер? — спросил Лимас, и голову пронзила нестерпимая боль.

— Да,— кивнул Мундт.— Таким образом, суд по делу о шпионаже становится как бы уже и формальностью. Я предлагаю, чтобы дело Фидлера слушалось при открытых дверях. Президиум согласен.

— И вы хотите, чтобы я давал показания?

— Да.

— Другими словами, у вас нет никаких доказательств?

— У нас будут доказательства. И ваши показания у нас будут,— в голосе Мундта не было ни угрозы, ни расчета на эффект, ни отрепетированных нот.— С другой стороны, в вашем случае можно ожидать смягчения приговора. Английская разведка вас шантажировала: вас обвинили в краже денег и поставили перед выбором — либо вы даете ложные показания против меня, либо сами обвиняетесь в воровстве. Суд, видимо, сделает снисхождение при таких обстоятельствах.

Лимас казался застигнутым врасплох.

— Откуда вы знаете, что они обвиняют меня в краже денег?

Мундт не ответил, но спустя немного начал сам:

— Совсем он глуп, что ли, этот Фидлер... Как только я прочел отчет нашего друга Питерса, я сразу же понял, почему вас послали и как Фидлер попался на эту удочку. Уж очень он меня ненавидит.— Мундт кивнул, словно подчеркивая истинность последнего замечания.— Ваши люди, конечно, об этом знают. Операция задумана очень умно. Кто ее подготовил? Смили? Его работа?

Лимас молчал.

— Я хотел просмотреть отчеты Фидлера о ваших допросах, велел ему послать их мне, но он все тянул и тянул. А я не сомневался, что все верно понял. Наконец, вчера он дал эти отчеты членам Президиума, даже не направив мне копии. Да, в Лондоне у кого-то хорошая голова на плечах.

Лимас молчал.

— Когда вы видели последний раз Смили? — спросил Мундт мимоходом.

Лимас медлил. Он потерял уверенность в себе. Голова раскалывалась.

— Когда вы видели его в последний раз? — повторил Мундт.

— Не помню,— ответил Лимас наконец.— Он был уже не у дел, так, время от времени принимал участие кое в чем.

— Он большой друг Питера Гийома, верно?

— Думаю, да.

— Гийом, по вашему предположению, изучал экономическое положение ГДР. Какой-то странный сектор в вашей разведке завелся. Не знаете, чем именно Гийом занимался?

Как стучит в голове... все путается, какие-то звуки слышатся, какие-то тени мелькают... глаза жжет огнем... тошнит...

— Так когда же вы последний раз видели Смили?

— Не помню... не помню...

Мундт покачал головой.

— Как меня обвинять — так у вас память хорошая. Очень просто вспомнить, когда в последний раз видел человека. Ну, скажем, после возвращения из Берлина вы его видели?

— Да, наверное. Встретил однажды на Кембриджской площади. Случайно. В Лондоне.— Лимас закрыл глаза, он весь взмок.— Не могу больше, Мундт, нет сил... я болен,— сказал он.

— Когда Эйш с вами встретился, попавшись на вашу удочку,— вы вместе завтракали, верно?

— Да. Вместе...

— Ленч кончился около четырех. Куда вы пошли потом?

— Кажется, вернулся в Сити, точно не помню... Ради Бога, Мундт,— простонал он, схватившись за голову,— не могу больше, голова разрывается.

— Куда вы пошли потом? Почему так старательно увертывались от слежки, зачем так тщательно сбивали со следа?

Лимас молчал, держась за голову. Он еле дышал.

— Ответьте только на этот вопрос и можете идти. Ляжете в постель, уснете, если захотите. Иначе вам придется вернуться в камеру, понимаете? Вас снова свяжут и швырнут на пол, как скотину, понимаете? Скажите, куда вы пошли.

В голове застучало еще сильней, комната заплясала перед глазами, голоса... шаги... неясные очертания движутся взад и вперед, беззвучные, бесплотные... Кто-то кричит. Нет, не на него. Открылась дверь. Ее кто-то открыл. Открыл... Конечно, кто-то открыл дверь... В комнате полно народу, и все кричат. Кто-то ушел... кто-то остался... еще кто-то ушел. Ну как же, это их шаги стучат так сильно в голове. А теперь стихают... Последние отзвуки, и... тишина. И тогда, как сама благодать, на лоб легла холодная тряпка, и заботливые руки унесли его.

Лимас проснулся на больничной койке. В ногах стоял Фидлер и курил сигарету.

ФИДЛЕР

Лимас осмотрелся, чтобы понять, где он находится. Кровать с простынями, палата на одного человека, окна без решеток, только занавески и матовые стекла, светло-зеленый линолеум. И Фидлер. Курит и смотрит на него.

Медсестра принесла еду: яйцо, жидкий суп, фрукты. Чувствовал он себя ужасно, прямо вот-вот умрет, но все-таки решил поесть и принялся за суп.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Фидлер, не сводя с него глаз.

— Хуже некуда.

— Но хоть немного стало полегче?

— Пожалуй, да.— Лимас помолчал.— Эти сволочи сделали из меня котлету.

— Вы знаете, что вы убили охранника?

— Так я и думал. Чего еще можно ожидать при такой идиотской операции, какую они устроили. Почему они не взяли нас вместе? Зачем вырубили весь свет? Вот что получается, если переборщить в организации любого дела.

— Боюсь, наша нация склонна перебарщивать во всем. За границей эту склонность принимают за высокую эффективность.

Наступило молчание.

— А с вами что случилось? — спросил Лимас.

— О, меня тоже немного «размягчили» для допроса.

— Головорезы Мундта?
— И он сам. Собственноручно. Очень странное ощущение.
— Мягко выражаясь,— заметил Лимас.
— Дело не в психологическом аспекте. Психологически это, конечно, ужасно. Но, понимаете, у Мундта есть особая тяга меня избивать. Допрос тут ни при чем.
— Потому что вы возводите на него поклеп?
— Потому что я еврей.
— Какая гадость,— пробормотал Лимас.
— Так что со мной особое обхождение. И все время он приговаривал шепотом. Очень странное было ощущение.
— А что он приговаривал?
Фидлер не ответил. Наконец он заговорил снова:
— Но теперь — конец.
— В тот день, когда мы были арестованы, я попросил Президиум выдать ордер на арест Мундта как на врага народа.
— С ума вы сошли. Я же вам сказал: вы совсем рехнулись, Фидлер. Он никогда...
— Есть и другие обвинения против него, помимо ваших сведений. Я собирал их по капле последние три года. Вы их просто подтвердили, не более. Как только все стало ясно, я подготовил рапорт и направил его каждому члену Президиума, кроме Мундта. В тот день, когда они получили рапорт, я запросил ордер на арест Мундта.
— В тот день, когда нас схватили?
— Да. Я знал, что Мундт будет бороться. Знал, что у него в Президиуме есть друзья или, по крайней мере, угодники, которые из страха побегут к нему, как только прочтут мой рапорт. Но знал я также и то, что в конечном счете он должен проиграть. Президиум располагает необходимым материалом против него. У них был мой рапорт, и в те несколько дней, пока нас с вами допрашивали, они с ним ознакомились и читали до тех пор, пока не поняли, что в нем написана правда. Причем каждый знал, что остальные тоже это поняли. В конце концов они вынуждены были принять меры. Зная, что всем все ясно, они побоялись бездействовать и назначили Трибунал.
— Трибунал?
— Закрытый, конечно. Он соберется завтра. Мундт арестован.
— Какие обвинения вы собрали?
— Подождите, увидите сами,— улыбнулся Фидлер,— завтра увидите.
Фидлер помолчал, глядя, как Лимас ест.
— А как проводится этот Трибунал? — спросил Лимас.
— Его созывает Президиум. Это не народный суд, о чем следует помнить. Он скорее носит характер комиссии, назначаемой Президиумом для проверки фактов и вынесения решений по тому или иному вопросу. Решение содержит определенные рекомендации. В данном случае рекомендации приобретают силу приговора, который не подлежит огласке, согласно процессуальным установлениям Президиума.
— Как устроен Трибунал? Есть судьи, адвокаты?
— Три судьи,— сказал Фидлер,— и один адвокат. Завтра я сам выдвину обвинение против Мундта. Карден будет его защитником.
— Кто такой Карден?
Фидлер помолчал.
— Очень крутой человек,— сказал он наконец.— Похож на сельского врача. Маленький и на вид добродушный. Был в Бухенвальде.
— Почему Мундт не может защищать себя сам?
— Хочет иметь защитника. Это значит, что Карден вызовет свидетеля.
— Дело ваше,— пожал плечами Лимас.
Снова молчание. Наконец Фидлер задумчиво сказал:
— Я понял бы... по крайней мере, мне кажется, что я способен понять, если бы он обрушился на меня из личной ненависти или из зависти. Понимаете, такая давняя, давняя боль... И все время говоришь себе: либо ее не выдержать, либо с ней нужно сжиться, с этой болью. Но природа берет свое, и боль поднимается, нарастает, как скрипичное крещендо, доходящее до самой щемящей ноты, и кажется — выше уже некуда, а она все растет и растет, эта боль, и естество только и делает, что тащит ее от ноты к ноте, как глухого ребенка, которого хотят научить слышать. Он все время шипел: еврей... еврей. Ну, пусть бы им двигали идейные соображения, интересы, если хотите, партии, я мог бы понять, безусловно, мог бы... Пусть бы он ненавидел меня лично. Но все это не то, он ненавидит...
— Ладно,— оборвал Лимас,— вам следовало знать, что он подонок.
— Да,— повторил за ним Фидлер,— он подонок.
«Видимо, очень взволнован. Ему необходимо высказаться»,— решил Лимас.

— Я много думал о вас,— продолжал Фидлер,— о том разговоре, помните, который у нас с вами состоялся насчет мотора.
— Какого мотора?
— Простите,— улыбнулся Фидлер,— это буквально перевод. Под мотором я имел в виду побудительный механизм, дух, стимул или как там христиане это называют.
— Я не христианин.
— Но вы понимаете, что я имею в виду,— пожал плечами Фидлер и снова улыбнулся.— Вас смущает... Скажу иначе. Допустим, Мундт прав. Он, как вы знаете, хотел, чтобы я признался. Я должен был признаться в том, что связан с английским шпионом, который фабрикует против него дело, чтобы его убили. Видите, какой аргумент — английская разведка задумала целую операцию, чтобы вовлечь нас, или меня, если хотите, в ликвидацию лучших людей нашей разведки. Направить, так сказать, наше оружие против нас же самих.
— Он и ко мне приставал с тем же,— равнодушно заметил Лимас и добавил: — Будто всю эту кашу заварил я.
— Так вот, я хочу сказать следующее. Допустим, ее заварили вы, предположим, это правда. Я говорю, например, просто строю гипотезы, понимаете? Ну, так как, убили бы вы человека, невинного человека?
— Мундт сам убийца.
— Предположим, что нет. Предположим, они хотят убить меня. Лондон пошел бы на это?
— Смотря по обстоятельствам. Зависит от необходимости...
— Ага,— удовлетворенно перебил Фидлер,— зависит от необходимости! В общем, как Сталин. Уличная катастрофа и статистика. Вы сняли камень с моей души.
— Почему?
— Вам нужно немного поспать,— сказал Фидлер.— Заказывайте какие хотите блюда — вам все принесут. Поговорить сможете завтра.
Уже дойдя до дверей, он обернулся и сказал:
— А ведь мы с вами совсем одинаковые — вот в чем парадокс.
Вскоре Лимас заснул, довольный тем, что Фидлер оказался его союзником и что скоро они отправят Мундта на тот свет. Он давно об этом мечтал.

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

В Лейпциге Лиза была счастлива. В окружающей ее строгой простоте было что-то аскетическое и возвышающее, во имя чего стоило бы пренебречь комфортом. Она жила в потемневшем убогом домике. Питание скудное — все лучшее отдавалось детям. За едой они каждый раз говорили о политике, она и фрау Люман, маленькая седая женщина, секретарь больничной ячейки Лейпциг — Ноенхаген. Муж фрау Люман работал на карьере, за городом. «Атмосфера, как в религиозной общине,— думала Лиза,— что-то вроде монастыря или киббуца — в таком духе. Мир воспринимается глубже, когда в животе пусто». Лиза немного знала немецкий от своей тетки. Удивительно, как быстро она восстановила свои знания и даже начала пользоваться ими. Сначала она попробовала их на детях. Они посмеивались, но помогали ей. Дети фрау Люман вели себя с ней странно: как с важной особой. На третий день один из них набрался смелости и спросил, не привезла ли она «оттуда» шоколаду. А она даже не подумала об этом — ах, как неудобно! И дети перестали ее замечать.
Вечерами велась партийная работа. Распространение литературы, посещение членов ячейки, которые не платили взносы или пропускали собрания, подготовка к дискуссии «Проблемы централизованного распределения сельскохозяйственной продукции», на которой присутствовали все секретари первичных ячеек, подготовка к заседанию консультативного совета рабочих, занятых на инструментальных заводах вне черты города...
Наконец, на четвертый день, в четверг, назначили собрание их ячейки. Самый существенный момент, как считала Лиза, в обмене опытом. Собрание послужит образцом для будущей работы бейсуотерской ячейки. Название доклада — лучше не придумать: «Мирное сосуществование после двух войн». Они ожидали, что будет полный зал. Повестки были разосланы по всей больнице, день выбран такой, чтобы не совпало с каким-нибудь другим собранием и когда магазины открыты только до обеда.
Пришло семь человек.
Семь человек, кроме Лизы, секретаря ячейки и представителя районного центра. Лиза не показывала виду, но на душе у нее кошки скребли. Ей с трудом удавалось сосредоточиться на докладчике, впрочем, она зря старалась: этот немецкий ей был недоступен. Она обвела взглядом присутствующих. Как на собрании в Бейсуотере. Или как на вечерней молитве в будний день — она когда-то ходила в церковь. Так же мало людей, такие же покорные, понурые лица, такая же беспокойная скованность на них — словом, то же ощущение великой идеи, попавшей в руки мелких людей. Конечно, ужасно, что она испытывает такое чувство, но оно не подчинялось ее воле и не покидало ее. Уж лучше бы совсем никто не пришел: на нет и суда нет. А так совсем невыносимо и унизительно, да еще задевает за живое.
Семь человек! Это же ничто. Хуже. Потому что они служат наглядным доказательством инертности неохваченных масс. Просто сердце обрывается.
Комната лучше, чем школьный класс в Бейсуотере. Но от этого не легче. Искать помещение в Бейсуотере было даже забавно. Сначала приходилось делать вид, что они вообще не имеют отношения к партии. Снимали задние комнаты в пивных, банкетные залы в кафе Ардена или тайно встречались то у одних, то у других. Когда же в ячейку вступил Билл Хевель, учитель средней школы, начали собираться в его классе. Тоже было рискованно — директор школы думал, что Билл руководит драматическим кружком, так что теоретически их могли выставить в любую минуту. И все-таки в классе было приятней, чем в Зале Мира с его потрескавшимися бетонными стенами и с портретом Ленина в идиотской рамке из органных труб и пыльных флажков. Вроде атрибутов фашистских похоронных церемоний.
Иногда она думала, что Алек был прав — человек верит потому, что ему необходимо верить. Объект веры сам по себе не имеет никакой ценности. Как он сказал? «У кого что болит, тот о том и говорит». Нет, это неверно. Алек не прав, нехорошо так говорить. Свобода, равенство и братство — вполне реальные категории. А история? Ее законы, которые выявляет партия? Нет, Алек не прав. Истина существует независимо от людей. Она проявляется в истории, и отдельные личности должны ей подчиняться. Она может их даже сокрушать, если необходимо. Партия — авангард истории, острейшее оружие в борьбе за мир. Теперь Лиза себя успокоила, хотя и не слишком. Пусть бы пришло больше народу. Семь — это так мало! Они выглядят такими сердитыми. Сердитыми и голодными.
После собрания Лиза ждала, пока фрау Люман собирала со стола непроданную литературу, заполняла журнал посещаемости и надевала пальто — в тот вечер было холодно. Докладчик ушел до начала прений (Лиза нашла, что это не совсем вежливо с его стороны). Фрау Люман уже стояла у дверей, держа руку на выключателе, когда на пороге появился какой-то мужчина — на секунду Лиза подумала, что это Эйш,— высокий блондин в плаще с кожаными пуговицами.
— Товарищ Люман? — спросил он.
— Да?
— Я ищу товарища из Англии. Товарищ Голд. Она остановилась у тебя?
— Я Элизабет Голд,— сказала Лиза.
Мужчина зашел в комнату и закрыл за собой дверь. Свет падал ему прямо в лицо.
— Я Хелтен. Из районного комитета.
Он показал фрау Люман, которая все еще стояла у дверей, какой-то документ. Она кивнула и озабоченно посмотрела на Лизу.
— Президиум поручил мне передать товарищ Голд приглашение,— сказал он.— Программа несколько изменилась, и товарищ Голд приглашается на особое собрание.
— О! — растерялась Лиза.
Ей и в голову не приходило, что Президиум мог слышать ее имя. Какая-то фантасмагория!
— Но я... но фрау Люман...— начала лепетать Лиза.
— Не сомневаюсь, что фрау Люман извинит тебя, поскольку так сложились обстоятельства.
— Конечно,— поспешила подтвердить фрау Люман.
— Где состоится собрание?
— Нужно выехать сегодня же вечером,— ответил Хелтен,— нам предстоит долгий путь. Почти до Герлитца.
— Где это?
— На востоке,— снова поторопилась сказать фрау Люман,— на границе с Польшей.
— Мы можем сейчас заехать к тебе, соберешь вещи, и сразу же поедем дальше.
— Прямо сейчас? Вечером?
— Да.
Хелтен, видимо, не очень старался предоставить Лизе выбор.
Их ждала большая черная машина. На переднем сиденье шофер, на складном верхе флажок. Очень напоминало военную машину.

Перевела с английского С. ТАРТАКОВСКАЯ.

Продолжение следует.

ОГОНЁК

ТВОРЧЕСТВО БОРИСА ГРИГОРЬЕВА

Александр БЕНУА

Борис Дмитриевич Григорьев родился в 1886 году в семье управляющего Волжско-Камским отделением коммерческого банка. Детство провел в Рыбинске. По окончании гимназии, в 1903 году, поступил в Строгановское училище в Москве. С 1907 по 1913 год был вольнослушателем Императорской Академии художеств в Петербурге. Сотрудничал в журналах «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Лукоморье», участвовал в выставках, в частности в выставке «Мир искусства».

В 1919 году художник эмигрирует. Живет в Берлине и Париже. Много путешествует. Посещает Аргентину, Уругвай, Бразилию, Центральную и Южную Америку. Его персональные выставки проходят в Риме, Лондоне, Милане, Париже, Нью-Йорке, Бостоне... Умирает в 1939 году на юге Франции.

Рассказать о Григорьеве можно было бы в обстоятельной статье, где были бы перечислены его учителя, выявлены истоки его искусства, обозначены периоды развития. Но нам показалось интересным предоставить слово критику, который одним из первых «заметил», выделил работы Григорьева, доброжелательно и заинтересованно наблюдал за его становлением — Александру Бенуа. Малоизвестная статья, написанная им в 1939 году, сразу же после кончины художника, достаточно объемно освещает все основные аспекты григорьевского творчества и одновременно дает возможность ближе узнать Григорьева-человека.

Е. СЕЛИНА

Еще одна художественная жизнь, еще одно художественное творчество завершились и теперь стоят перед нами, как нечто заключенное в себе. Ничего уже больше к нему не прибавится. Между тем именно в отношении этого творчества — в отношении искусства Григорьева — так чувствуется необходимость в каком-то еще дальнейшем развитии. Чудесное в своей исключительной талантливости искусство, но таким, коим оно является сейчас, оно оказывается недоговоренным. Недоговорена, впрочем, только вторая часть этой творческой повести, то, чем искусство Григорьева стало после того, как мастер покинул родину и оказался волей судьбы, без возможности возвращения, в чужих краях...

Первая часть творчества Григорьева вполне естественно объединяется под названием одного из его самых замечательных произведений, под словом «Расея». Ряд произведений, относящихся к этой первой части, был создан как-то сразу и, во всяком случае, в течение сравнительно недолгого времени — в порыве одного сплошного вдохновения, когда Григорьев оказался после нескольких лет заграничного пребывания снова на родине. Нечто тогда поразило его до такой степени, так «вывернуло ему душу», что он почти сразу нашел способы излить испытанное в форме какой-то своеобразной поэмы полуобличительного характера.

В те дни он был напитан парижским воздухом — воздухом того довоенного Парижа, в котором дышалось так легко, в котором еще слышались отголоски смеха романтических гризеток

«С РАБОТЫ», 1913 г.





«РАСЕЯ», 1917 г.

и студентов, в котором было столько милой и беспечной ласки. Художественную манеру выражения Григорьева воспитали не столько разные образцы прославленного творчества, сколько именно самый этот «воздух Монпарнаса и Монмартра», что и позволило художнику остаться совершенно самобытным даже после того, как он проникся особенностями парижской художественной культуры. Другие русские художники, попадая в Париж, заражались общими увлечениями момента, старались усвоить последний крик, приобщиться к самоновейшим достижениям. Одни выбирали себе в руководство Сезанна, другие — Пикассо и т. д. Но Григорьеву было мало дела до всего этого, он шел своим путем. Рисовал он, «что попало и как попало», и только одно казалось ему при этом важным — это схватывать в каждом пленившем предмете, будь то человеческая фигура, сценка в бистро, животное в зоологическом саду, отдельное дерево или целый пейзажный мотив, самое для данного образа типичное.

Первое, что я увидел из творчества Григорьева, были как раз такие привезенные из Парижа рисунки, и более всего меня в них поразила их баснословная меткость и характерность... Иным тогда казалось, что в них обнаруживается опасная склонность к маньеризму, что «система» Григорьева, заключавшаяся в чередовании тонкой и гибкой линии со сплошь тонированным штрихом (получаемым от плоско положенного на бумагу карандаша), что эта система есть легкомысленный трюк, выработанный художником на изготовлении сатирических иллюстраций, которые он набрасывал одним взмахом и не задумываясь над их отделкой (Гри-

«ЗЕМЛЯ НАРОДНАЯ», 1917—1918 гг.





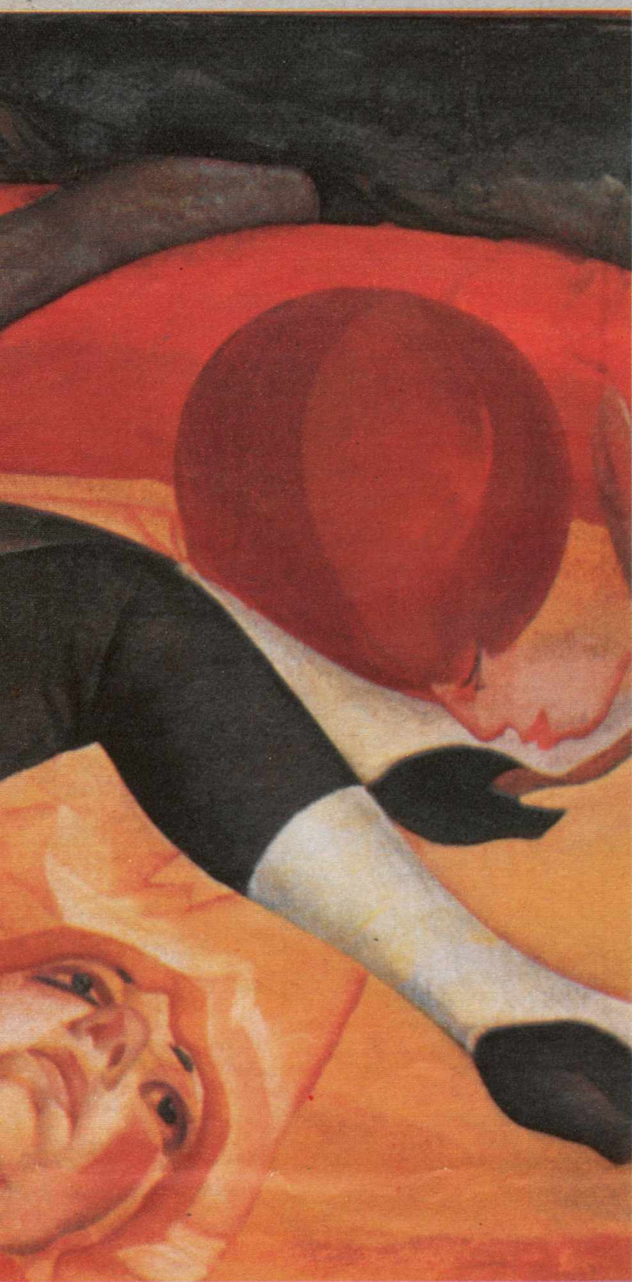
«В ГОРАХ», 1911 г.

горьев, как и Яковлев, начал свою деятельность, сотрудничая в «Сатириконе»). Напротив, я получил совершенно иное впечатление от всех григорьевских рисунков, мне они показались не только блестящими, но и внушительными; изумляла их зрелость, то, что в них было столько острой наблюдательности, связанной с безупречным послушанием руки глазу. И я сразу тогда поверил в Григорьева, стал ждать в дальнейшем от него чудес.

Эти чудеса не замедлили объявиться. Но только они были совершенно иного рода, нежели те, что сулили его первые работы. Менее всего в них оказалось каких-либо реминисценций «парижского воздуха», и больше всего в них оказалось чего-то самобытно русского, чего-то, что поражало своим жутким сходством с той нас окружавшей средой, которую мы сами, вероятно, вследствие привычки воспринимали с несравненно меньшей остротой, нежели он, новоприбывший.

Когда на выставке в Академии художеств под гигантскими копиями с Рафаэля предстала на публичный суд серия его картиноподобных этюдов, окружавших главное произведение Григорь-





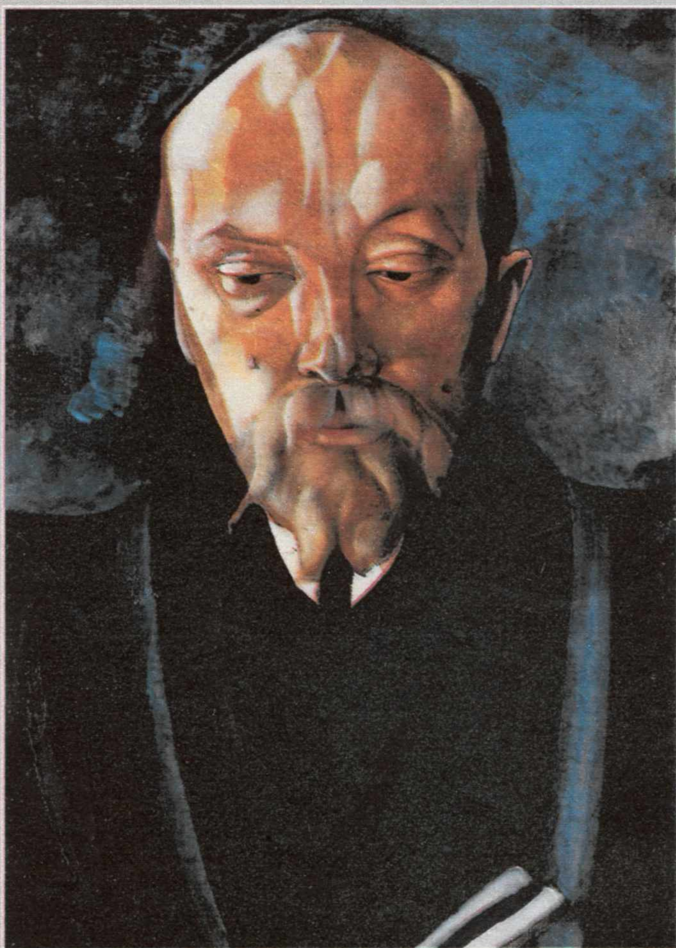
«СОН ЦИРКАЧА», 1910-е гг.

«ПОРТРЕТ ДЕВОЧКИ», 1910-е гг.

«СОН», 1913—1914-е гг.



«ДАМА В ЧЕРНОМ», 1910-е гг.



«ПОРТРЕТ Н. К. РЕРИХА», 1917 г.

ева, названное «Расея», многих охватил одновременно с восторгом от явной талантливости и род ужаса. Перед эстетами, совершенно к тому времени отвыкшими вычитывать из картин какие-либо уроки и пророческие назидания, предстало подобие «головы Горгоны» (...).

Такие именно мысли, тогда же мной записанные почти в этих самых выражениях, вызвали во мне страшные картины григорьевской «Расеи». Как же было не исполниться чувства некоего почитания к художнику столь проникновенного ясновидения? Правда, где-то глубоко в душе не переставала жить надежда, что в целом все обстоит не в такой уж безнадежности, что все же существует рядом с этой кошмарной «Расеей» та Русь, которую можно по-прежнему считать «святой» и которую следует по-прежнему любить с чисто сыновней нежностью. Но одно — «глубина души», до которой моментами и добраться трудно, а другое — простая, осязаемая действительность, и эту очевидную действительность Григорьев со странной простотой, с откровенностью какого-то enfant terrible* и преподнес.

Григорьев сознавал, что он совершил при этом своего рода подвиг и даже гордился им. Он, например, охотно принимал сравнения себя с Достоевским. Однако и тогда казалось, что рождение

* Сорванец, не считающийся с условностями и приличиями.

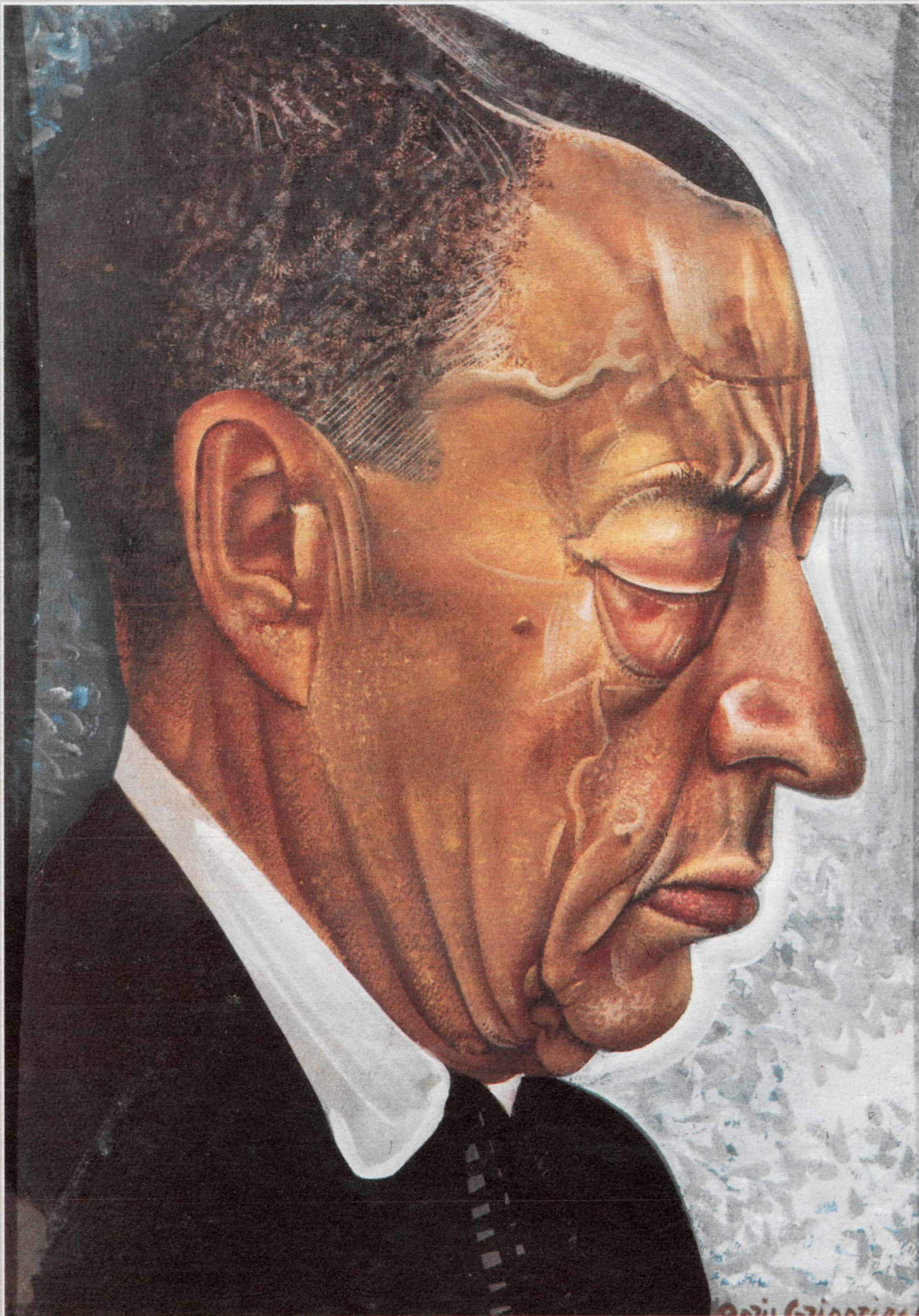
«КОНСЬЕРЖКА», 1918 г.

столь значительных «откровений» явилось все же неожиданностью для него, что они явились продуктом интуиции, что они появились на свет потому, что настал момент, когда нужно было им появиться. Творческие силы и техническое мастерство Григорьева сыграли при этом роль проводника каких-то велений, исходящих из сфер, не доступных человеческому познанию. Замечательно, что творчество Григорьева осталось абсолютно изолированным, что оно не нашло себе ни единого подражателя (...).

О Григорьеве как о человеке можно многое сказать, и следовало бы ныне начать собирание материалов для такого его портрета — пока еще свежи и ясны воспоминания о нем, о всех противоречиях этого странного характера. Странным этот характер действительно был. Многие боялись Григорьева, считали его за какого-то опасного скандалиста. Получилась эта репутация вследствие крайней впечатлительности художника и полной, зачастую невозможности его совладать с возникшими в минуту аффектами. В смысле каких-либо моральных принципов в нем тоже не все было определенно и четко установлено, и почти всегда Григорьев поступал так, как ему подсказывали его далекие от простого здравого смысла побуждения. Но меня лично влекло к этому странному человеку. Как-никак, а среди моих современников он представлял собой наиболее цельный образ художника, и представлял он его без всякого наигрыша, в силу одних только


«ТРАУРНАЯ», 1918 г.

«ПОРТРЕТ С. В. РАХМАНИНОВА», 1930 г.



велений своей натуры. Интуиция сказывалась не в одних только произведениях Григорьева, но и в его убеждениях (в том «подобии убеждений», которые он проповедовал иной раз с пламенной страстностью), в его отношениях к людям, в его художественных увлечениях и в его критике. Интуиция руководила и проявлением его чувств к самым близким людям, и если в суете светских и деловых отношений иной раз трудно было решить, находится ли он под влиянием доброго или злого начала, то во всем самом существенном и самом жизненном он слушался своего сердца, если же восставал против него, то с великим страданием, вслед за которым являлось глубокое раскаяние.

Смятенный дух жил в Григорьеве, но то была истинная и подлинная смятенность, а не та неврастеническая взбаламученность, которая в наши дни «носится», как модный костюм, или происходит от какого-то духовного разгильдяйства. Эта смятенность Григорьева, вероятно, и помешала ему продолжать творить с той же уверенностью, когда он оказался в новых условиях после своего отбытия из России. Он, во всяком случае, если и храбрился, хоть и уверял себя и других, что он «себя еще покажет», все же потерял как-то почву под ногами. Он и до создания «Расеи» жил в чужих краях и чувствовал себя в них как рыба в воде. Ему даже казалось, что он лучше понимает это чужое, нежели свое, что ему и люди нерусские ближе, нежели русские, что он лучше может с ними сойтись. На самом же деле этот до крайности чуткий аппарат оказался в чужих краях без того питания, которое позволило ему создавать вещи чрезвычайной значительности. С ультраинтуитивными натурами происходят подобные духовные катастрофы. С особой чуткостью откликаясь на разные «подсказки», исходящие из окружающей их жизни,— подсказки, редко даже ими до конца осознанные, они не способны накоплять опыт, не способны синтезировать свои впечатления, не способны жить на «запасы». Приобретаемое они тут же тратят, причем это их мало тревожит, так как им кажется, что этот приток впечатлений неиссякаем.

Чисто художественная ценность созданного Григорьевым в чужих краях не уступает художественной ценности «Расеи» и всей совокупности картин, созданных им во время пребывания на родине. Пожалуй, даже в узкоживописном смысле Григорьев неизменно за последние годы шел вперед. Он освобождался от некоторой жесткости и от тех формальных условностей, которые проникли в техническую сторону его работы вследствие временных увлечений (так, между прочим, исчезли и последние черты кубизма, довольно наивно понятого и усвоенного Григорьевым). Палитра стала богаче, но и ярче, фактура (отчасти под влиянием Вламинка, достоинства которого Григорьев был склонен преувеличивать) приобрела предельную виртуозность. К удивительно блестящим достижениям принадлежат его бретонские портретообразные этюды, а также те серии пейзажных заметок, которые он вывез из своих странствований по Центральной и Южной Америке. Но вот «тень Расеи» все же лежала на всем этом заграничном творчестве Григорьева и как-то вредила его успеху. Вторая часть его творения так и осталась до некоторой степени фрагментарной (...).

1939 г.

Андрей ЧЕРНОВ

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

* * *

Спроси у вечернего неба
краюху нечерствого хлеба,
глоток родникового дня,
фонарик, чтоб вспомнить меня.
Забвенья, прощенья, лекарства...
И только коня да полцарства
и счастья себе не проси.
При них не прожить на Руси.

ЛЕТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

Вощеную щеколду отодвинув,
та осень набухала по садам
мясистой мимикрией георгинов,
цветенье уподобивших плодам.
И все же от заката до заката
в предвестье всероссийских непогод
здесь, в садоводстве мясокомбината,
как счастливы мы были в этот год!
Как счастливы — на той осенней бровке,
в скворечне — запотевшей — в два окна.
Минутный жемчуг бельевой веревки
был вечен, как Китайская стена.

РАСПУТИЦА

Снег шершав, и рассветы корявы,
но уже оскользается взгляд,
потому что из каждой канавы
небеса — не мигая — глядят.

Вдвое глубже, и выше, и шире —
ибо вся отразилась в реке,—
города, как штыки, растопыря,
ты вот-вот воспаришь налегке.

Не мотором стальным дребезжащим,
не пропеллером — смертным винтом,—
над прошедшим и над настоящим,
над звездою своей и крестом,

и не тройкой — червоной тачанкой,
ведь не зря по углам берегла
эти кровли пернатые дранкой,
безъязыкие колокола.

Ну так в путь — над соленой и пресной,
над слезящейся талой водой,
поднебесная — станешь небесной,
золотою утрешься зарей

над прибрежной строкой краснотала,
где надежная в пролежнях грязь,
и над всеми, кого ты заспала,
грузной грудью на грудь навалясь.

В карауле архангельской стражи,
как живые, склонились они.
А иначе нельзя же, нельзя же!..
Потому что последние дни.

Потому что крылатая почта
раззвонила на все голоса,
что водою пропитана почва
и текут по земле небеса.

1984

* * *

Лютеранке в православном храме
и перекреститься не грешно —
питерские кирхи под замками
или приспособлены давно.

Но кому-то ж надо и в блокаду
по-немецки Господа просить,
а потом бежать по Ленинграду
русским буквам правнучку учить.

Затерялась. Соблюла приличья.
Выжила на смертной полосе.
Ни двуличия, ни двуязычья.
Маленькая, выглядит, как все.

Фатер унзер, это не из спеси,
Это из непрóжитых веков:
стены твердокаменных конфессий
ниже ленинградских облаков.

ЭСТИМАА

А как только из ножен изверженный меч
в нашем мясе сработался — сделалось тихо
и в ушах зажурчала прибрежная речь
тех, с достатком хлебнувших российского лиха.

На задворках Москвы и Германии — впрок
насмотревшись, что значит вражда межевая,
как ребенок, начальный выводят урок,
удвоением гласного смысл утверждая.

Эти звуки, что галька речная, круглы,
но обкатаны не для пращи — для прощенья.
В такт волненью расходятся сосен стволы,
оттого и бессмысленны им запрещенья.

И уже не страшась ни «катюш», ни «марусь» —
так-то та-ак...— белобрысой кивнут головою.
Так на «а» упирала Московская Русь,
обретая себя меж Ордой и Литвою.

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Подновили, подкрасили, порассуждали.
Но все та же, и в тех же пространствах
нетронутых
узколицей цыганкой на автовокзале
отвернулась и кормит ребят запеленутых.
И все тот же над ней лейтенантик ременчатый
наблюдает да с палочки каплет мороженым,
ну а некто, районной печатью отмеченный,
притворился, что спит на сидении кожаном.

Да и ты, рассуждавший о ней, за колонною,
точно тот живописец самоуверенный,
что вписал себя сбоку в картину хваленую,
а теперь поостыл и глядит как потерянный.
В самом центре российского плоского глобуса
не Икара какого-нибудь, не паруса —
ждешь, чтоб лед на Оке или стал, или тронулся,
присоседился, и ожидаешь «Икаруса» —
обилеченный, в молодость облаченный,
с фотокарточкой сверенный, не обличенный.

* * *

Витье повилики и вспененный панцирь плюща,
оконный проем изумрудами перегрузивший,
ворвутся в жилье, биомассою хлопоча
о том ли, что расписание четверостиший,
увы, устарело. На мемориальном гвозде,
забитом едва ль не Языковым, жизни обуза
опасна: где плющ завивался — взойти лебеде.
Не выдержать груза.

Мы что-то нарушили. Хаоса топкую плоть
ни тяпкой, ни словом, замешкавшись,
не удержали.
Заемной гармонии грезы что толку полоть?
В саду запустенье, когда зацветают скрижали.
И если грибы набухают на колосниках
в однажды законсервированном паровозе,—
смотри на обочину. Лирики в наших местах
не больше, чем в прозе.

* * *

От нервического тика
негражданственных свобод
снится седенький заика,
аналитик и юрод.

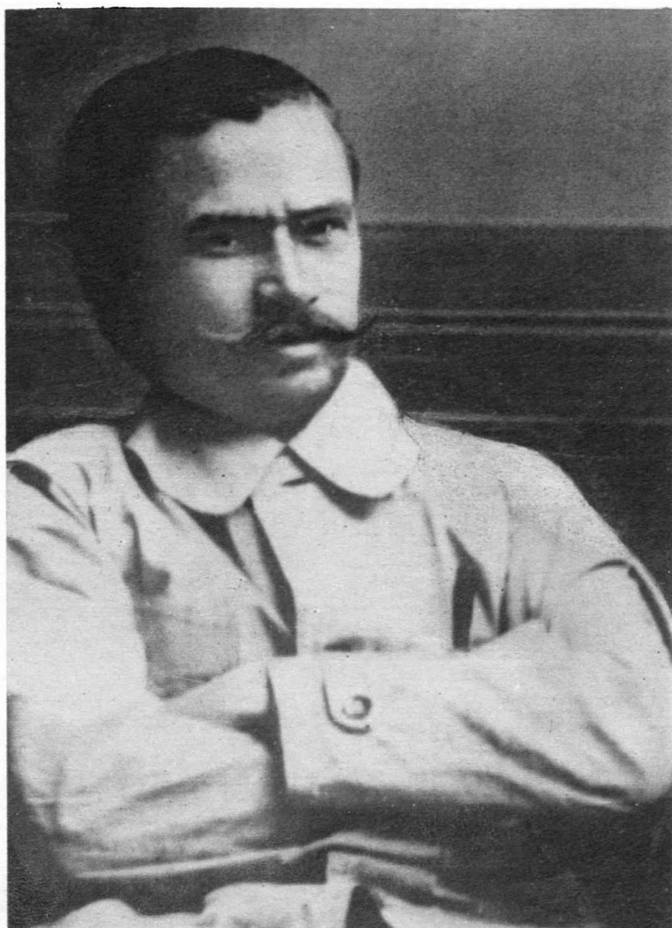
Тот, сухой и большерукий,
всенародно битый тать,
отлученный от науки
лжи молчаньем потакать.

Щурится от поворота —
запределен и нелеп,
и протягивает что-то,
так похожее на хлеб.

А у нас свои печали,
актуальнее его.
Мы себя не расщепляли.
Нам-то каяться с чего?

А у нас в руке синица
да с повидлом бутерброд.
И чего он только снится,
колотушкой в сердце бьет?

Ноябрь 1989



Г. И. Мясников: «Кто хочет сейчас, чтоб наша партия стала в глазах пролетариата не комищейкой, а комячейкой, кто хочет, чтоб при этих тяжких условиях, в которых находится наша страна, измученный рабочий шел за нами, кто хочет, чтоб мощь и влияние наше в пролетарских массах и крестьянстве усилилось, тот должен сказать, что кроме свободы слова и печати нет возможности достичь этого».



В. И. Ленин: «Вы дали себя *подавить* известному числу печальных и горьких *фактов* и потеряли способность *трезво* учесть силы.

Свобода печати поможет *силе* мировой буржуазии. Это факт. *Не очистке коммунистической партии* в России от ряда ее слабостей, ошибок, бед, болезней (куча болезней есть, это бесспорно) послужит «свобода печати», ибо этого *не* хочет мировая буржуазия,— а свобода печати станет оружием в руках *этой мировой буржуазии*. Она не умерла. Она жива. Она стоит рядом и караулит».

Борис БЕЛЕНКИН

Жанр биографии имеет свои каноны. Не представляют исключения и жизнеописания деятелей партии. Истории «пламенных революционеров», неугодных Сталину и им уничтоженных, однотипны. Сегодня жанр всех таких биографий — трагедия. И образы героев жанр трактует одинаково. Спотыкается он лишь в том случае, когда реальное «житие» героя категорически не вписывается в сложившиеся трафареты.

В необыкновенной жизни Гавриила Ивановича Мясникова много темного, смутного. Но даже то, что мы знаем достоверно, никак не трактуется однозначно. Здесь от трагического до смешного один шаг. Его поступки ставят биографа перед необходимостью решать: может ли, например, уголовное преступление быть деянием героя трагедии? И если нет, тогда с каким жанром мы имеем дело? И мы не ставили перед собой задачи давать ответы на многочисленные возникающие вопросы. Мы просто представляем еще одно действующее лицо нашей истории и даем лишь некоторые факты его жизни (потому что знаем далеко не все, и многое из того, что знаем, пришло к нам из тенденциозных источников). Кто и что был наш герой — пусть решает читатель, а подумать есть над чем.

ГАНЬКА

Бывший великий князь Михаил Романов, высланный в Пермь в марте, находился, по сравнению с другими своими несчастными родственниками, в более привилегированном положении. Михаилу Александровичу, всячески подчеркивавшему свою лояльность, дозволено было иметь при себе секретаря, а также пользоваться «роллс-ройсом». Автомобиль обслуживал личный шофер бывшего великого князя. Князь полагал, что «охранные грамоты» за подписями Бонч-Бруевича и Урицкого гарантируют его безопасность... Тем временем атмосфера вокруг него сгущалась. Рядом постоянно вертелся мотовилихинский рабочий Иван Беляев, по прозвищу Ванька-Замазай. Замазай обладал недюжинными актерскими способностями: переодевания (то моряком, то купцом, то еще кем-нибудь) с гримированием были его слабостью. Постоянно наблюдал за «объектом» Василий Иванченко. Ни Пермский Совет, ни Губ. Чека к этой подозрительной возне вокруг именитого ссыльного прямого отношения не имели. Хотя сведения об угрозах мотовилихинцев в адрес Михаила секретом ни для кого не были. (Предложение Совета и Губ. Чека интернировать его в целях безопасности Михаил отверг.) Тем временем некто, руководивший действиями Замазая и Иванченко, торопил события.

Этим инкогнито, стоявшим во главе заговора, был 29-летний председатель Мотовилихинского Совета Гавриил Иванович Мясников.

О «дореволюционном» Мясникове известно немного. Родился в 1889 году. Юношей работал на заводах Казани и Чистополя. Примыкал к эсерам. В 1906 году приехал в Мотовилиху, устроился слесарем на знаменитый пушечный завод. Вступил в РСДРП. За активное участие в революционных выступлениях неоднократно арестовывался. О себе он писал В. И. Ленину в 1921 году: «Из 11 лет до 1917 года моей партийности я 7½ лет сижу в тюрьмах и на каторге, где 75 дней (в общей сложности) голодаю в виде протеста. Был нещадно избиваем, подвергался пыткам. Остальные 3½ года проходят в побегах: я три раза бегу из ссылки с поселения и не так, как тов. Троцкий, который имел возможность отдавать оленей (см. его «Туда и обратно». — **Прим. Г. Мясникова**), нет, бегу «зайцем», бегу не за границу, а для партийной работы в Россию...» В 1917 году Мясников избирается председателем Мотовилихинского Совета рабочих депутатов. Авторитетом среди рабочих одного из крупнейших уральских заводов (Мотовилихинский завод до революции насчитывал более 5 тыс. рабочих) он, безусловно, пользовался. 11 января 1918 года Мясников избирается делегатом от Пермской губернии на III съезд Советов. В «застойном» историческом сборнике очерков «Слово о Мотовилихе» (Пермь, 1974 г.) находим следующую характеристику: «Очень неуравновешенный, дерзкий, честолюбивый, Мясников втайне стремился к власти, но с рабочими держался запросто. Многие считали его своим человеком, рубахой-парнем. Но был он не так прост, как казалось...»

Так уж прост он, конечно, не был. Рабочий-слесарь на несколько недель опередил «подвиг» известного чекиста-авантюриста Блюмкина. А именно: прежде чем совершить убийство, потогдашнему — акт пролетарской мести, Мясников запасся подложными документами Губ. Чека. В ночь на 13 июня он во главе «пятерки» явился в гостиницу (так называемые «Королевские номера», что по Сибирской улице). Михаила Александровича разбудили и предъявили документы о срочном выезде из Перми. Документы, как и визитеры, вызвали у великого князя понятные сомнения. Он потребовал вызвать председателя Губ. Чека Малкова. На отказ ехать пригрозили применить силу. Последнее возымело действие. «Пятерка» прихватила и секретаря великого князя Джонсона. Арестованных посадили в заранее приготовленные фаэтоны (так написано в книге М. П. Быкова «Последние дни Романовых», Свердловск, 1926 г.) и повезли в сторону Мотовилихи по тракту. В 6 верстах от поселка, за складами Нобеля, группа свернула в лес, где обоих «похищенных» расстреляли...

Теперь предстояло «замести следы». Каким образом? Некто звонит по телефону(?!) (слабо представляю себе, где там мог быть телефон, наверное, на самом заводе) в милицию и в Губ. Чека и сообщает, что ночью в «Королевские номера» явились неизвестные лица и увезли Романова по направлению Сибирского тракта (то есть в противоположную сторону от Мотовилихи). Погоня... погоня... погоня... Но никаких следов. Если бы в Губ. Чека были заинтересованы в раскрытии преступления, то взоры следствия сразу обратились бы в Мотовилиху. Во-первых, знали об угрозах в адрес Михаила, во-вторых, о нравах, царивших там. Об этих нравах есть еще одно свидетельство:

«С 14 июня окружающим архиепископа стало известно, что с часа на час надо ожидать ареста Владыки. Знал о предстоящем аресте и сам архиепископ Андроник и относился к этому спокойно. В ночь с 17 на 18 июня (с 4 на 5 июня), едва лишь пробило 12 часов ночи, к парадному крыльцу подошла банда красноармейцев, состоящая из мотовилихинских рабочих. Предводитель заявил, что он явился арестовать архиепископа, однако никаких мандатов, несмотря на требования таковых со стороны архиепископа, предъявлено не было. Красноармейцы спешно увезли архиепископа в Мотовилиху. Монах о. Михаил забрался на колокольню соборной

церкви, заперся и ударил в набат. По колокольне открыли ружейный огонь. Архиепископ попал в руки кровавого руководителя мотовилихинского застенка Мясникова. Этот зверь в образе человека, как передают, подвергнув Владыку самым тяжелым пыткам, в конце концов закопал его живым в землю». (Тобольские Епархиальные Ведомости, 1919 г., № 17).

Цитируется с сокращениями.— **Б. Б.**

Закончим историю с убийством Михаила. Дело вскоре раскрылось, с убийц сняли показания. Говорят, с Мясниковым впоследствии на эту тему беседовал сам Феликс Эдмундович. А на VI съезде Советов (ноябрь 1918 г.) среди делегатов мы вновь встречаем Гаврила Ивановича.

Прошло два года. В конце сентября 1920 года Мясникова из Перми переводят в Петроград. «Организационное Бюро Цека командировало меня в Петроград (как мне удалось установить потом, я был сослан на исправление)»,— с этой фразы начинается его «Докладная записка» в ЦК. Ганька (именно так звали своего вожака рабочие Мотовилихи) стал работником отдела управления Петроградского Совета. В период дискуссии о профсоюзах поддерживал «платформу десяти», то есть Ленина (во всяком случае, в сторонниках «рабочей оппозиции» не значился), невзлюбил Зиновьева (взаимно) и, главное, внимательно присматривался к бурлящей действительности.

«Докладная записка» в ЦК РКП(б) датирована 2 мая 1921 года. К этому времени он из Питера был направлен назад в Пермь в качестве помощника управляющего Мотовилихинским заводом. Принято считать, что с этого момента и началось то, что в истории партии получило устойчивое название «мясниковщина».

Идеи, изложенные в «Докладной записке», сводились к трем положениям:

— восстановление Советов рабочих депутатов на предприятиях «как командира-вождя, который поведет рабочих к победе над разрухой». «Советы управляют — союзы контролируют»;

— создание Крестьянского союза, который «должен иметь право Рабкрина, как и союзы рабочих»;

— свобода слова и печати. «Надо создать условия, при которых не только свобода мнений внутри партии (не) подавляется самым гнусным образом, но надо сделать, чтобы весь мир видел, что мы пропаганды и агитации белогвардейцев всех сортов и оттенков не боимся... и умеем с ней бороться не только методами Мымрецова «тащи и не пущай».

И Советы на производстве, и Крестьянский союз Ганьке еще сошли бы с рук. Но не «свобода слова и печати... от монархистов до анархистов включительно».

Мясников был, безусловно, честолюбив (тот факт, что однажды, отвечая на вопрос анкеты: «Где желаете работать?», он написал: «В Политбюро Центрального Комитета партии», свидетельствует, я думаю, скорее о чувстве юмора и дерзости. Хотя... кто знает?). Честолюбив и жесток. Но его «Докладная записка» в ЦК — поступок не только честолюбца и авантюриста эпохи гражданской войны...

События, связанные с «Запиской», развивались следующим образом. В июне Пермский губком запретил Ганьке выступать с пропагандой своих взглядов. 18 июня ЦК, рассмотрев «Докладную записку», признает взгляды, высказанные в ней, антипартийными, а 29 июня для расследования его деятельности была создана комиссия в составе Сталина, Сольца и Михайлова (по другим источникам — Бухарина, Залуцкого и Сольца).

Как видим, «Записка» вызвала гораздо большую кутерьму, чем убийство великого князя.

1 и 5 августа Ганьке пишет сам Ильич. (1-го — небольшую записку, 5-го — письмо на нескольких страницах.) Ленин резко критикует выдвинутые Мясниковым предложения. Особенно достается «свободе печати от монархистов до анархистов включительно». Ленинский рефрен письма — «свобода печати — оружие в руках мировой буржуазии». Ганька, бывший в то время в Москве (из Мотовилихи его отозвала вышеназванная комиссия), отвечал на письмо Предсовнаркома так:

«Тов. Ленин.

Ваше письмо получил. Писать Вам сейчас нет времени. Поеду в завод в Мотовилиху и оттуда пришлю ответ...»

Отправив записку, Мясников, не дожидаясь решения комиссии, возвращается в Пермь, где использует письмо Ленина в своих выступлениях. 12 августа 31 делегат покидает Пермскую городскую партконференцию, продемонстрировав несогласие с мнением губкома относительно Ганькиных выступлений. Мотовилиха держит сторону своего вожака.

Но комиссия вновь вызывает «подследственного» в столицу. Теперь у Ганьки образовался досуг:

«Тов. Ленин. Все никак не мог собраться Вам ответить на Ваше письмо. Теперь я опять в Москве — вызван из Мотовилихи комиссией...»

Перечислив часть претензий к нему, высказанных Лениным, он восклицает:

«Неужели это серьезно? Вы говорите, что Вы сделаете все, чтобы меня убедить, но на что это похоже? — Слова, слова, как говаривал Гамлет. Вы сами понимаете, что это несерьезно. Крепко, оно точно, но не убедительно».

Аргументы против своего тезиса о свободе печати оценивает: «Вы говорите, что я в панике, а это что?»

Да, Ганькино письмо — документ прелюбопытный. Непривычного в нем даже слишком много. Развязность тона — как речь персонажа из романа. Абсолютное отсутствие пиетета к адресату смещает представление об эпохе... Мы знаем о резких спорах с Лениным его товарищей на партийных съездах. Но то — в пылу устной полемики. Перед нами же эпистолярный жанр. Письмо преследуемого и находящегося на грани исключения из партии. Вот еще некоторые выдержки:

«Когда дробите скулы мировой буржуазии, это хорошо, но вот беда: Вы замахиваетесь на буржуа, а бьете рабочего. Кто больше всего арестовывается за контрреволюцию теперь везде? Рабочие и крестьяне, это бесспорно. Коммунистического рабочего класса у нас нет. Есть просто рабочий класс, среди которого есть и монархисты, и анархисты, и кадеты, и эсеры (все это не обязательно партийные, а лишь по складу мыслей своих). Какое отношение к нему? Никаких рассуждений с кадетом-буржуа, адвокатом, доктором, профессором,— здесь одно лекарство — мордобитие. Другое дело — с рабочим классом. Нам надо его не в страхе держать, а идейно влиять на него и вести за собой, а потому не принуждение, а убеждение — вот линия, вот закон... Одну из самых больших государственных ежедневных газет придется сделать дискуссионной для всех оттенков общественной мысли. Советская власть будет содержать хулителей своих за свой счет, как делали римские императоры. Это и будет свобода печати при наших Российских условиях...

Не верите Вы в силу рабочего класса, не верите вы в его классовую политику, а верите в чиновников — это Ваша беда... Вы разве не знаете, что за такой разговор, какой веду я, не одна сотня и тысяча пролетариев сидит в тюрьме и ни одного буржуя не сидит, который так и вопроса ставить не будет? Если я хожу на воле, то потому, что я коммунист 15 лет, который свои коммунистические взгляды омыл страданиями, и ко всему этому меня знает рабочая масса, а если бы этого не было, а был бы я просто слесарь-коммунист того же завода, то где же бы я был? В Чека или больше того, меня бы «бежали», как некогда я «бежал» Михаила Романова, как «бежали» Люксембург, Либкнехта. Еще раз Вы замахиваетесь на буржуазию, а у меня кровь из зубов, а скулы трещат у нас, рабочих...»

Далее Ганька предлагает испробовать на практике свои идеи в пределах Пермской губернии и заканчивает так:

«Если я провалюсь? Ну что же? Расстреливайте, если это будет нужно, меня, и на деле высмейте мою идею. Крестьянские союзы в Туркестане существуют. Думаю, что Вы меня не предадите анафеме?

С коммунистическим приветом.

Г. Мясников».

22 августа Оргбюро ЦК заслушало выводы комиссии. Было постановлено: признать тезисы Мясникова несовместимыми с интересами партии (ему вменялось в обязанность на официальных собраниях с тезисами не выступать), самого Мясникова оставить в распоряжении ЦК. Постановление подписал Молотов.

На дворе — август 21-го, «мирный» август, когда «ликвидируются» тамбовские повстанцы, «ликвидируют» Гумилева, но с Ганькой церемонятся. «Социально близкий», он еще оставляет надежду на исправление: «Мы сойдемся и будем работать дружно в одной партии...», «выправив нервы, поборов в себе панику, вы возьметесь за деловую работу...» (Ленин). А как же вел себя «нервный», но все еще родной для партии Ганька?

Получив в руки копию постановления, он начал с того, что от опеки ЦК смылся в свою Мотовилиху. Здесь на собраниях он рассказывал о случившихся с ним злоключениях, демонстрировал ответ Ленину и решение Оргбюро, выражая с последним полное несогласие. На собраниях, где он выступал, нередко раздавались реплики: «Валяй, Ганька, поддержим!», «Ай да Ганька, вот ведь человек-то, борется за правду!». В итоге Мотовилихинская парторганизация вынесла резолюцию о несогласии с решением Оргбюро ЦК по всем пунктам. Резолюцию завершал следующий пункт: «Отзыв тов. Мясникова из Мотовилихи рассматриваем как очередную ссылку его за инакомыслие и просим ЦК оставить его здесь, в Мотовилихе».

Не теряя времени даром, Ганька с дозволения губкома печатает под одной обложкой «Записку», статью, письма Ленина, свои ответы на них, постановление Оргбюро и резолюцию мотовилихинцев. Вскоре (востребованный-таки в Москву) Ганька принимает меры по изданию этих материалов в Москве. Вышли они под шапкой «Дискуссионный материал» («Только для членов партии», тираж 500 экз.). Автор-составитель активно участвует и в распространении брошюры.

Из Москвы Ганьку направляют в Петроград, где он пытается организовать оппозиционную группу.

1 декабря 1921 года Политбюро принимает решение направить Мясникова в распоряжение Главлескома. А 5 декабря Ленин на копии перехваченного Ганькиного письма, адресованного в Петроград некоему инженеру Куржнеру, пишет записку, в которой указывает на необходимость усилить внимание к Ганькиной агитации и два раза в месяц докладывать о нем в Политбюро. (В письме Ганька убеждал инженера «завоевать» по крайней мере два района, объединив всех недовольных под одно знамя, и уговаривал принять меры к распространению «Дискуссионного материала».)

Зимой радиостанция польского правительства передала извлечения из Ганькиной статьи «Больные вопросы», «Дискуссионный материал» использовали для фельетона Виктор Чернов, а Мартов и Милюков — для передовых статей.

20 февраля 1922 года постановлением Политбюро ЦК РКП(б) Мясников исключается из партии с правом через год возбудить ходатайство о новом вступлении в РКП(б).

А через несколько дней Мясников вместе с активными сторонниками бывшей «рабочей оппозиции» подписывает «Заявление 22-х» в Коминтерн *. (Как свидетельствуют А. Г. Шляпников и А. М. Коллонтай, Мясников подписал заявление, еще не зная о своем исключении из партии.)

После исключения Ганька вновь появляется в Перми. 22 марта на собрании рабочих Мотовилихинского завода он выступил, как писали позднее, «с злобной антисоветской речью, клевеща на внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии и Советской власти». Теперь власти принимают более крутые меры. Мясников арестован и в административном порядке отправлен в Москву с запретом возвращаться в Мотовилиху...

Первый акт в истории «мясниковщины» закончился. Ганька, судя по всему, на некоторое время притих.

Действие второго акта относится уже к истории «Рабочей группы». Ганька, оставаясь всецело при прежних убеждениях, перешел к иным методам. Теперь ставка делалась на конспирацию и создание нелегальной партии.

Ганька рассудил верно: прежде чем создавать организацию, необходимо иметь то, вокруг чего объединить людей. То есть программу. Прежние «Докладная записка» и статья «Больные вопросы» для этого не годились. Нужно было что-то более весомое. И Ганька создает «Манифест Рабочей группы Российской Коммунистической партии (б)»: «Коммунисты нашим именем (то есть рабочих.— **Б. Б.)** управляют страной и хозяйством»; власть — это «зарвавшаяся кучка интеллигентов». Партия «обратила добытую в октябре власть против рабочих». «Перерождение господствующей группы РКП(б) в олигархическую касту идет полным ходом» (в другом документе «Рабочей группы» сказано о «перерождающейся в монархическую касту верхушке»).

Работа над «Манифестом» завершилась весной. Тогда же перед XII съездом партии (апрель 1923 года) создано «Временное Центральное Организационное Бюро», которое занялось распространением «Манифеста» и налаживанием связей с низовыми партячейками. Затем происходит странное событие. В конце мая неожиданно Мясникова арестовывают и высылают... в Германию, где тот числится сотрудником Советского постпредства. Забегая вперед, отметим, что вся история «Рабочей группы» довольно странна и нелепа. Мы можем судить о ней лишь по книжице В. Сорина «Рабочая группа» (1924 г.) — единственному «исследованию» на данную тему. Основной источник автора, помимо текста «Манифеста...»,— материалы следственного дела. Поэтому говорить с уверенностью, что все было именно так, а не иначе, нельзя. Читая Сорина, создается впечатление, что если бы «Рабочую группу» не придумал Ганька, то ее придумало бы ОГПУ. Не исключено, что «органы» с самого начала имели в кругу Ганькиных приятелей осведомителя. Утверждение ОГПУ, что оно до начала сентября не подозревало о наличии «группы»,— явная липа. И арест, и последующая высылка Мясникова за границу (многоопытному Ганьке, в отличие от его единомышленников, устроить провокацию было труднее), и летняя партчистка именно тех ячеек, где были сторонники «группы», наконец, то, что «органам» уже в мае было известно о «Манифесте»,— все это говорит о достаточной осведомленности ОГПУ и об обреченности «группы».

Но давайте по порядку. Итак, Ганька в Германии. Но несмотря на отсутствие руководителя, его соратник Н. В. Кузнецов 5 июня устраивает совещание сторонников «Рабочей группы» — Московскую конференцию (присутствуют 10—12 человек). Выбирается Московское Бюро, куда вошли 4 (по другим данным — восемь) человека. Тогда же Кузнецовым ведутся переговоры с некоторыми лидерами бывшей «рабочей оппозиции», в том числе с А. Г. Шляпниковым, Ю. Х. Лутовиным, Е. Н. Игнатовым и С. П. Медведевым. Шляпникову и Медведеву якобы предложено было вступить в «Рабочую группу», но они якобы отказались. Во всяком случае, никто из бывших лидеров «рабочей оппозиции» властям не донес. По этому поводу В. Сорин заключает: «Товарищи... не нашли нужным известить партию... нельзя не признать здесь весьма

* Обреченная на неудачу попытка группы членов партии, в основном сторонников распущенной на X съезде «рабочей оппозиции», привлечь внимание международной коммунистической общественности к нездоровым явлениям внутрипартийной и хозяйственной жизни страны.



Красноармейцы и крестьяне у агитпоезда «Октябрьская революция». 1919 год.

своеобразного представления о партийности».

Московское Бюро успело собраться всего несколько раз. Деятельность его ограничивалась совещаниями Кузнецова с активистами. У членов Московского и Центрального Бюро существовали условные имена, клички... Ганька якобы должен был создать заграничное Бюро, куда намеревался «заманить» Коллонтай и Маслова («левый коммунист» в Германии), но успел только отпечатать в Берлине Манифест «группы». По официальным данным, в «группу» входило, или поддерживало ее, человек 200, как коммунисты, так и исключенные и беспартийные. Кузнецов, правда, явно старался завысить число своих сторонников. Ганьке он писал о трех тысячах членов. Тот, в свою очередь, уверял немецких коммунистов о наличии 10 тысяч. Арестованные члены «Рабочей группы» показывали на следствии: «Кузнецов — фантазер»; «Кузнецов всегда старался показать, что за ним сила, связь, организация, фантазировал, это все знали; смеялись»; «озлобленный, нервный человек»; «когда мы старались узнать, кто за ним есть, он всегда козырял большими фигурами, чуть ли не т. Троцким, тт. Лутовинов, Рязанов, Невский, Ларин были всегда в его распоряжении... о связи с рабочими и отдельными заводами он не говорил: это для него была мелочь. Прямо называл губернии и большие города, и бесконечные цифры, всегда разные».

Аресты последовали в начале сентября, задержано было более 20 человек. Ганьку тоже арестовали, предварительно выслав из Германии. Предоставим слово Михаилу Шрейдеру. Его рассказ, отрывок из неопубликованных воспоминаний «Жизнь чекиста-оперативника», заслуживает внимания:

«...Вспоминаю случай, когда мне было поручено арестовать бывшего члена партии, одного из руководителей «рабочей оппозиции», предателя Мясникова... После полного и подробного инструктажа Феликс Эдмундович и Вячеслав Рудольфович (Менжинский) пожелали нам успеха и распрощались с нами. А мы с Сыроежкиным и красноармейцами отправились выполнять задание.

Мясников проживал на Фуркасовском переулке, в доме, где находилась известная тогда лаборатория по анализам на реакцию Вассермана. Квартира Мясникова находилась на третьем или четвертом этаже.

На наш звонок дверь открыла женщина, оказавшаяся женой Мясникова. На вопрос, где сам Мясников, она, глядя на нас с неприязнью, процедила: «В столовой»,— кивнув на соседнюю дверь. Оставив у входа в квартиру бойца, мы с Сыроежкиным и вторым красноармейцем направились в столовую.

Мясников сидел за столом и пил чай. Это был плотный мужчина лет сорока. Увидев нас, он грубо спросил: «Что вам тут надо?» Я выступил вперед, подошел к нему и предъявил ордер на арест и обыск. Но не успел я опомниться, как Мясников, откинувшись на спинку стула, изо всех сил ударил меня сапогом в пах, и я тут же потерял сознание.

Когда я очнулся, то увидел находившихся возле меня фельдшера внутренней тюрьмы и заместителя начальника санчасти ГПУ Зеленского.

В квартире Мясникова уже находились Дзержинский, начальник Оперода Паукер, помощник начальника секретного отдела Сульта и еще два или три человека, фамилии которых не помню. Кажется, был еще и А. Беленький. Оказалось, что, когда я потерял сознание, Сыроежкин вместе с красноармейцами схватили Мясникова, оказывавшего бешеное сопротивление, и связали ему руки.

...Феликс Эдмундович предложил Мясникову следовать за конвоем, но тот не подчинился и начал грубить и оскорблять Дзержинского.

«Вы совершенно потеряли человеческий облик, Мясников,— сказал Феликс Эдмундович,— даже не верится, что вы были членом нашей партии».

Затем он вторично предложил Мясникову следовать за сотрудниками, предупреждая, что в случае неподчинения его выведут насильно. Тогда Мясников прокричал что-то оскорбительное по адресу Владимира Ильича.

«Прекратите! — повысив голос, почти прокричал Дзержинский.— Вы недостойны произносить имя этого человека».

Дзержинский приказал сделать из одеял носилки и вынести Мясникова насильно, что тут же было выполнено, и Мясникова водворили в стоящую у подъезда машину...

Мы с Сыроежкиным остались на квартире в засаде. За ночь никаких происшествий не произошло, за исключением того, что жена Мясникова долгое время неистовствовала, истерично кричала и ругала нас последними словами... Она не успокаивалась и стала подталкивать двух детей, заставляя их плевать на нас, говоря: «Смотрите на них, плюньте им в лицо. Это жандармы. Они арестовали вашего отца».

Утром раздался звонок, и в квартиру вошли двое в штатском. Увидев нас, они растерялись, но отступить было некуда. При проверке документов оказалось, что это были известные оппозиционеры Шляпников и Сапронов. Оба они тогда еще были членами ВЦИКа. Мы доложили по телефону нашему начальству об их приходе, и нам было предложено их отпустить. Через некоторое время нас сменили».

Финал истории «Рабочей группы» был следующим: большинство арестованных после следствия и покаяния отпустили. Только для нескольких человек, в том числе Мясникова и Кузнецова, началась пора странствий по тюрьмам и ссылкам. Но пусть читателя не удивляют столь мягкие приговоры. Чего добивались при аресте, видно из показаний некоего Лукина, члена «Рабочей группы»: «Считаю себя, как члена партии, виновным перед партией и Советской властью... Отмежевываясь от всяких подпольных группировок, заявляю, что, по моему мнению, в интересах рабочего класса необходимы репрессии по отношению к деятелям этих группировок вообще и, в частности, «Рабочей группы». На дворе, заметьте, еще только 1923 год.

История, получившая название «мясниковщины», закончилась. А жизнь Мясникова?

Сперва он был в Вятской тюрьме, затем в Томской. О нем изредка вспоминали. Предсовнаркома Рыков на одном из заседаний XV съезда (декабрь 1927 г.), громя оппозицию, заявил: «Разве с Мясниковым не разделались в два счета?.. что вы думаете, Владимир Ильич нянчился бы с ней («рабочей оппозицией».— **Б. Б.**), так, как мы нянчимся с вами (то есть с троцкистами. — **Б. Б.**)?». А на Запад тем временем просочились ложные слухи, что Мясникова удавили в Томском ГПУ.

На самом деле спустя три с половиной года после последнего ареста Ганьку благополучно отправили в ссылку. В город Эривань. Шел 1928 год. Троцкий уже перебрался в Алма-Ату. Бажанов уже бежал через советско-иранскую границу.

Настало время снова предоставить слово Ганьке:

«...7-го ноября 1928 года, вышедши на демонстрацию, домой не возвратился, а где-то по дороге сбрил усы, волосы, одел другой костюм и с портфелем, туго набитым рукописями, сел на извозчика и поехал на вокзал... А там купил билет до г. Джульфа.

Тучи стали рассеиваться... Это не хорошо. Ночь будет светлая.— «Эх, темная ночь, выручай!» — Луна на ущербе и появится пред утренней зарей! Но лучше, если бы тучи, ветер, дождь или снег... И темно-темно... А нет. Ну и пусть. Приходит поезд. Садится. (Ганька предпочитает рассказывать о себе в третьем лице.— **Б.Б.**) *Тесно. Лезет на верхнюю полку. Удобнее — глаз меньше.*

Около двенадцати часов ночи поезд проходил между станциями Даршан II-й и Джульфа, и здесь автор на ходу прыгнул с поезда и бегом к реке, чтобы, пользуясь прикрытием и шумом, невидно и неслышно добежать до реки Аракс... Спешно раздевается. Привязывает на голову портфель и одежду — и в Аракс. Вода жжет: холодная, ледяная. Шумит Аракс. Тучи ходят. Идет небольшой снежок. По руслу дует резкий ветер... Переплыл.

А потом... арестовали власти Персии автора и рукописи. Полицейские участки, тюрьмы.

Зорко следит Иродово племя. Хотят похитить... И тут, обманывая бдительность полиции Персии, и ГПУ, уезжают рукописи в одну сторону, а автор бежит в другую. (Агабеков рассказал, что охотился не только за рукописями, но и за головой моей, рассказал не все, что он знает. Почему? Какой хозяин запретил? Сегодняшний или вчерашний? Или оба? — **Прим. Мясникова**)...

И новая попытка украсть у меня рукописи. Полиция арестовывает Ивана Железова за то, что тот подкупал за 1000 турецких лир, чтобы выкрасть у меня рукописи...

Наконец, Франция... И то, что не удалось

ни в Персии, ни в Турции, то удалось во Франции, в Париже.

Из Персии через Берлин — в Париж, минован все преграды, приехали мои долгожданные и вновь соединились и с портфелем, в котором они переправлялись через Аракс, и с головой, на которой переправлялись и которая родила их. Большой праздник!

А 3 октября 1930 г. их не стало. Не стало и портфеля... Все миновали, все преодолели и у типографского станка «среди бела дня», в центре Парижа пропали... Расчет воров был простой: автор занят работой по добыванию средств пропитания и занят весь день. Писать ему нет времени. То, что написано,— беспокоит, опасно. На них могут понять природу современной власти в СССР и поняв, решить вопрос: за что бороться?»

Почему бежал Ганька, понятно: рядом была граница, а сколько продлится ссылка, неизвестно. И что будет после ссылки? Опять тюрьма? Только вот неясно, зачем «органы» выбрали Ереван — близ иранской границы (ведь недавно, через нее — правда, в другом месте — бежал Бажанов!). Почему ему не определили какой-нибудь отдаленный отовсюду Туруханск? Разве можно было надеяться, что такой человек, как Мясников, успокоится и, наконец, «одумается»? Все это довольно странно.

Итак, Ганька в Париже. Трепещи, мировая капиталистическая система! Трепещите, Сталин, Бухарин и К°! Трепещите, органы ГПУ!

Как он утверждает, с заветным портфелем безвозвратно кануло почти все, написанное им за последние 5 лет (всего Мясников перечисляет 10 работ). Единственное, чем заявил о себе вновь прибывший: заметка в органе меньшевиков «Социалистический вестник» и изданная в 1931 г. брошюра «Очередной обман». Очередным обманом Мясников назвал широко модный тогда лозунг в СССР — «самокритика». «Рассовав не одну тысячу рабочих, крестьян и интеллигентов по тюрьмам и ссылкам очень «социалистического» отечества, эта бюрократическая орава вдруг заголосила благим матом о «критике», «самокритике» и ...». О расправах «втихомолку, в тиши подвалов ГПУ» читаем мы почти на каждой странице брошюры. Автор не просто декларирует гнусности господствующего в СССР режима, а выдвигает свою программу уничтожения бюрократизма. Не знаю, насколько эта программа была реалистична в те годы, но сегодня выглядит очень современно и актуально. Например, его требование 1921 года о «свободе слова и печати» переросло в требование многопартийности:

«Господство бюрократии наиболее полно обеспечивается при однопартийной форме управления, когда существует только одна партия, партия бюрократии. Поэтому бюрократия употребит все силы, чтобы не допустить возникновения других легальных партий... И всякую критику линии ее партии бюрократия будет изображать как контрреволюцию, меньшевизм, пугая всех и вся адом и кромешными муками за всякое инакомыслие, ересь, неверие. А если не поможет и это, тогда на помощь придет ГПУ и будет внушать пролетариям, крестьянам и интеллигенции правильность аргументации ЦК ВКП(б) уже по-своему».

Ни шума, ни шока мясниковская брошюра на Западе не вызвала. А вскоре затем попытка наладить периодическое издание «Рабочий путь к власти» наткнулась на непреодолимые трудности: отсутствие средств и сторонников. Ганьке, как «левому коммунисту», ни с кем из представителей левых социалистических течений сойтись не удалось. Для меньшевиков и зарубежных социал-демократов он оставался леваком, для троцкистов слишком анархичным. Во всяком случае, после «Очередного обмана» Мясников с политической арены исчез.

Как жил? Как любой эмигрант. С уверенностью можно сказать, что пропитание Ганька добывал своими руками — пригодилась, наверное, профессия слесаря. ГПУ больше за ним не охотилось.

Ганька исчезает не только с политической арены, но и из нашего поля зрения. Почти на десять лет.

Пора подойти к развязке. Но прежде — еще два свидетельства.

В 1965 году в «Новом мире» были опубликованы воспоминания реэмигранта В. Сухомлина «Гитлеровцы в Париже». Приведем без комментариев запись от 22 октября 1940 года:

«Новая неожиданная встреча. Бакалов сказал мне, что со мной хочет познакомиться один «старый большевик», который работает где-то с болгарскими эмигрантами. В кафе пришел коренастый и плечистый мужчина лет за пятьдесят. Густые торчащие усы. Держится развязно. Голос громкий, манеры заправского митингового оратора. Родом из Мотовилихи. Кто же он? Оказывается, ни более и ни менее, как Мясников, бывший лидер «рабочей оппозиции»... Спрашивал меня, что я думаю о войне. Я сказал ему свои соображения, что, мол, рано или поздно, советско-германская война неизбежна. Он выслушал, но своего мнения не сказал».

Но нам известно, что о надвигающейся войне Ганька приходил поговорить не только к Сухомлину. Тогда же он нанес визит советскому генконсулу. По Л. Тарасову, явившийся к нему Мясников («худой, плохо одетый человек», у которого «глубоко сидящие небольшие глаза с хитрым прищуром под густыми седыми бровями», «резкие морщины на лице, зачесанные назад седые волосы и узловатые руки рабочего») рассказал ему историю своего побега за границу из... Алма-Аты(?!). Рассказ изобилует рядом подробностей, как-то: близость со Синцзяном, отдаленность персидской границы, частые хождения на охоту в целях притупить бдительность «местных товарищей», путь до Туркмении... Или автор что-то напутал, или досочинил, или же ему нещадно врал Ганька. Последнее было бы нелогично, так как Ганька пришел к консулу не с пустыми руками, а с объемистой рукописью своих воспоминаний:

«Ну, вот, собственно, из-за этого я к вам и пришел.— И он засмеялся старческим дребезжащим смехом.— Возьмите. Может быть, не сейчас, позже, когда-нибудь ваши историки заинтересуются и используют мои воспоминания. Да вы прочтите.— увидите: себя я не очень оправдываю, других не слишком обвиняю...»

Воспоминания Мясникова... Генконсула не интересовала история. Судя по всему, он даже не раскрыл эти воспоминания. Нам же заглянуть в них было бы даже очень интересно. Но *«отправить ее (рукопись.— **Б. Б.**)* в Москву, пишет в заключение Тарасов,— мне не удалось, и она была уничтожена вместе со всей дипломатической почтой в первый день войны, 22 июня 1941 года в Берлине».

Плохо же было Ганьке, если постучался в двери «Иродова» заведения. Или, может быть, надвигающаяся война примирила его с ненавистными властями?..

Что делал он в годы войны? На вопрос относительно участия Мясникова во французском Сопротивлении Ассоциация по созданию музея Сопротивления в Париже лет десять тому назад дала отрицательный ответ. Сомневаюсь, чтобы Ганька сотрудничал с оккупационными войсками... Продолжал ли слесарить? Сидел в концлагере?..

По свидетельству Е. Таратуты («Политический дневник» Роя Медведева за 1965 год), все три сына Мясникова, оставшиеся с матерью в России, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Жена Мясникова Дая Григорьевна потеряла рассудок. В 1946 году, после выхода из психиатрической клиники, она неожиданно получила официальное уведомление, в котором говорилось, что в Бутырской тюрьме содержится ее муж и что ему разрешено свидание с женой. Когда после долгих колебаний она пришла в тюрьму, ей сказали, что Мясников расстрелян... Со слов другого информанта Рой Медведев пишет: «...Мясникова после войны Сталин велел выманить из Франции. К Мясникову пришел представитель СССР и стал убеждать его вернуться на Родину. Мясников отказывался, заявляя, что его сразу же арестуют. Но Гаврилу Ильича (так у Медведева!) заверили, что прошлое забыто и что имеется «высочайшее» разрешение на его возвращение в Москву. Желание вернуться на Родину, увидеть родных (знал ли он о судьбе сыновей?) оказалось сильнее всех других чувств, и Мясников решил вылететь в СССР. Однако сразу же на аэродроме он был арестован...».

Ганькино пророчество сбылось. Его «бежали», как некогда он «бежал» Михаила Романова.

Демонстрация по случаю 1-й годовщины Октября (Москва). 1918 год. **Фото П. ОЦУПА**





СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Алексей УЛЮКАЕВ,
кандидат экономических наук

ПРАВЫЙ МАРШ

На переломных этапах истории, когда люди ее ломают и когда в ответ она ломает людей, начинают вдруг сходиться прежде несходимые, воспринимаемые всеми как противоположные, идеи, люди, организации. Сходятся восток и запад, север и юг, волна и камень, лед и пламень... В одну упряжку запрягаются конь и трепетная лань. Кто бы мог, например, в начале века предположить, что в двадцатые его годы непреклонный консерватизм и крайний радикализм так удачно и катастрофично соединятся на земле классической философии, ставшей землей классического нацизма. Кто бы мог подумать в начале нынешнего десятилетия, что на его исходе вдруг сплотятся в трогательной заединщине ортодоксальные марксисты-ленинцы доброго сталинского разлива и великороссийские националисты. Первые с 1917 года ведут отсчет «царству свободы» (оно же «социалистический лагерь»), вторые — «империи зла».

Чем объяснить это? Можно довольно плоскими сентенциями типа «крайности сходятся». И это будет верно. Можно общностью вполне реальных социально-экономических интересов их приверженцев, которым осязаемо угрожают экономическая реформа, рынок, хозяйственный плюрализм. И это тоже будет верно. Можно обращенностью в прошлое, нежеланием и неумением видеть и понимать изменяющуюся реальность. И это опять же будет верно. Можно, наконец, кризисным экономическим положением страны, что всегда стимулирует фрустрированное сознание и различные массовые тоталитарно-охранительные комплексы и фобии. Думаю, будет верно и это.

Наблюдаются определенные «сходности» этих, казалось бы, крайне разноречивых направлений. Можно перечислить их даже по пунктам. Во-первых, конечно, трогательная приверженность залюбленному насмерть и от души вульгаризированному Учению, от которого в их интерпретации остались взвешенные и сочтенные рожки да ножки нехитрого катехизиса: три источника и три составные части, пять укладов и пять признаков, два класса и две формы, три этапа и три периода, два условия и десять ударов и т. д., и т. п.

Во-вторых, достойное восхищения упрямое нежелание считаться с такими пустяками, как реальность; воинствующий алогизм.

В-третьих, претензии на знание истины в последней инстанции, агрессивность, ксенофобия, тщательный отбор сверчков и указание на соответствующие им шестки, бестрепетное отлучение неверных, разоблачительство, отпор проискам.

Но, как говорится, жизнь не стоит на месте. Все заметнее становится тенденция соединения кристально чистого, выдержанного истинного социализма с, казалось бы, на дух не принимающей марксизма, ленинизма, социализма и прочей задушевной национал-патриотической идеологией особого пути, соборности в добротной антисемитской и вообще антиинородческой упаковке.

Образовавшийся мутный, крепкий, бьющий в головы тысячам людей коктейль можно было бы назвать пацизмом — патриотическим социализмом, чтобы не использовать другую половину его национально-патриотической составляющей — нельзя же обижать наших достославных сограждан.

А они обижаются. И сильно. Вот, например, секретариат Союза писателей РСФСР в своих многочисленных обращениях и заявлениях сетует, что «безответственные люди размахивают жупелом фашизма, стращают, передергивают».

Не хочу быть голословным. Не буду никого обвинять. Буду только приводить и сопоставлять факты, документальные свидетельства.

Хорошее представление об идеологии пацизма дают публикации в «Литературной России», просто «России» (неформальное патриотическое издание, национал-самиздат), а также «Нашем современнике» и «Молодой гвардии» (в этой последней, впрочем, выдерживается линия компромисса между пацизмом и чистым, истинным социализмом).

Если даже не брать в рассмотрение выступления наиболее бойких и последовательных пацистов, а ограничиться строгим вариантом его идеологических канонов — предвыборными платформами Объединенного фронта трудящихся (ОФТ) и так называемого блока общественно-патриотических движений России, в который входят, кроме уже названного ОФТ, также Ассоциация «Объединенный совет России», Ассоциация «Единство» и ряд других организаций, то можно выявить ряд прелюбопытных историко-политических аналогий с идеологией и риторикой германского нацизма (и в несколько меньшей степени — с его итальянским и испанским подобиями).

Попробую обозначить их в самой краткой тезисной форме.

1. Апелляция к обостренному сознанию, педалирование чувств национального унижения и позора. Версальская система и угнетение иноязычной плутократией в одном случае. Опасность потери целостности и национального лица России, угроза империалистически-плутократически-инородческой эксплуатации — в другом. Как сказано в предвыборной программе пацистов, «трудно назвать в прошлом нашей Родины другой такой период, когда бы со столь откровенным садизмом подвергались поношению наше национальное достоинство и наша национальная гордость». Унижение же, понятно, зовет к отмщению. Око, а еще лучше три, десять «ок» за око.

А ведь к борьбе против «унижения Германии» призывала еще первая нацистская организация — созданный в 1918 году так называемый «Политический рабочий кружок» Харрера-Дресклера.

В фрустированности сознания приверженцев идеологии и нацизма, и пацизма причина истеричности. Побывайте на их митингах. Трудно найти гдельибо близкую по накалу страстей, озлобленности, кликушеству атмосферу. В ряде случаев ее состояние переходит границы политического факта и вступает в сугубо медицинскую область. Примерно то же нам демонстрируют и кинодокументы пятидесятилетней давности.

Поиски русофобов под кроватью доходят порой до анекдота. Вот, например, главный редактор ведущего «патриотического» журнала жжет глаголом сердца своих единоверцев таким образом: мол, унижение российского национального достоинства перед Западом дошло до такой ужасной степени, что Министерство финансов (надо полагать, один из центров русофобских заговорщиков) распорядилось за один их паршивый доллар давать аж шесть наших трудовых народных рублей. Каково же бедным итальянцам и японцам, которые вынуждены за доллар отваливать по полторы-две сотни своих трудовых народных йен и более тысячи трудовых народных лир. Чем не итало- или японофобия!

2. Любопытная мелочь: сходство терминологическое — тысячелетний рейх в одном случае, тысячелетняя держава — в другом. И там, и там плутократы и жидомасоны, разрушители семьи и нравственного начала, «народное сообщество» и «народное согласие».

3. Четкое политико-психологическое деление на «мы» — «они», отождествление «нас» с извечным добром, «их» — с не менее извечным злом, а значит, и ненависть, и зависть.

«Они» для нацистов: плутократы-неарийцы — ворочают ростовщическим и торговым капиталом, объединены в единый всемирный заговор и паразитируют на теле немецкого народа;

все, разбогатевшие на войне, разрухе и страданиях нации, спекулянты;

западные демократии — угнетают немецкий народ, ограничивают его исторические права;

славяне и другие периферийные нации — занимают исконные немецкие земли, стесняют наше жизненное пространство; студенты и интеллигенты — унижают и распродают национальное достоинство, предательски бьют в спину нации в трудное время.

Деятели парламентских политических партий — погрязли в коррупции, обделывают свои дела за спиной народа.

«Они» для пацистов: плутократы, совбуры, кооператоры — занимаются непроизводительным, спекулятивным обогащением, паразитируют на теле народа, рвутся к власти, чтобы распродать страну;

все, нажившиеся на долголетнем ограблении государства и народа, «теневая экономика», спекулянты, перекупщики,— обогащаются нечестным путем, усиливают социальную несправедливость и напряженность;

империалистические западные «партнеры» (кавычки подлинника), экономические оккупанты — продолжают вооружаться, пользуются нашей смутой, чтобы закупить наши национальные богатства да и саму территорию, превратить страну в сырьевой придаток Запада;

инородцы, сепаратисты, периферийные нации Союза — жируют за счет передачи из России «десятков миллиардов рублей, идущих на дотации и искусственное, не обеспеченное их собственным трудом повышение уровня жизни в других союзных республиках», оскорбляют национальное и человеческое достоинство русского народа на территории других союзных республик;

публицисты, ученые, средства массовой информации — поощряют и распространяют русофобию, оскорбляют защитников Отечества, внушают русским комплекс неполноценности, разлагают общественное сознание, пропагандируют аморализм, бесстыдство и индивидуализм;

правящая партия — не предпринимает усилий по консолидации общества и своих рядов, уступает блоку сепаратистов и «левых радикалов» в деле распродажи национальных богатств;

парламентарии, общественно-политические и государственные деятели — безусловно, стремятся к распродаже страны, плюс к тому — стремятся стать хозяевами страны, ввергают общество в противоборство, чреватое повторением трагедии гражданской войны, погрязли в коррупции.

4. Столь четкое указание на многочисленных и опасных врагов логическим продолжением имеет выдвижение теории заговора — марксистов и (или плутократов в одном случае, жидомасонов, теневиков, буржуазных интеллигентов, партийных перерожденцев — в другом). Заговор надо вскрыть и подавить. Сделать это могут только истинные патриоты.

5. Оперирование социально-национальными стереотипами. Нацисты: «обездоленного и преданного врагами немца», «кровопийцы-ростовщика и банкира», «разрушителя семьи и нравственных начал — марксиста», «разрушителя арийской расы — еврея», «прогнившей и коррумпированной власти в буржуазно-демократической республике», «душителей германских национальных интересов — англичан».

Пацисты: угнетающие русских сепаратисты, оболваниваемые, обираемые, теряющие национальную жизнь и достоинство русские; спекулянты и эксплуататоры — кооператоры и частники; раскупающие государственное достояние западники; коррумпированные политиканы; рвущиеся к власти совбуры.

6. Великогерманская (великороссийская) риторика. «Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес», а с другой стороны — «Великая, единая и неделимая Россия».

7. Всемерное утверждение этого величия, в том числе и в геополитическом смысле — предъявление территориальных претензий соседним суверенным государствам, требование перекройки границ. «В случае выхода какой-либо союзной республики из состава Союза ССР Россия будет добиваться того, чтобы суверенитет республики распространялся на все исконно принадлежащие ее многочисленным народам земли». Если это не требование аншлюса, то что же?

8. Антидемократизм, недоверие к праву, демократическим институтам, в которых видятся угроза анархии, требования наведения порядка, укрепление дисциплины.

Антипарламентаризм — характерная черта испанской фаланги, итальянских фашей и, конечно, германских наци. Известна их деятельность по выкорчевыванию на немецкой земле демократических, конституционных свобод и институтов, разгону рейхстага, «законодательное» формирование его только из членов своей партии при запрете всех прочих.

Гитлер утверждал, что демократический принцип большинства всегда и везде означает лишь победу более низкого, плохого, слабого, трусливого и безответственного. Итальянские фашисты, испанские фалангисты, немецкие нацисты наотрез отвергали парламентскую практику, неприкрыто нападали на все политические партии, обвиняя их в плачевном состоянии политических нравов и в аморальности, а фалангисты прямо выступали за их упразднение.

Один из идеологов фашизма, Джентиле, в 1924 году отмечал, что свобода может существовать только лишь в государстве. Государство же при этом рассматривается как национальное государство, главная задача которого — «сохранение расы в социальном организме. Лишь в крови коренится сила или слабость человека» (А. Гитлер, «Майн Кампф»). Он же подчеркивал, что либеральное государство — еврейская выдумка, призванная внести вырождение, расчленить, а затем уничтожить расовую народную общность.

Вполне узнаваемо поэтому, когда на митингах пацистов, в том числе и предвыборных, народных депутатов называют не иначе как «так называемыми» и выражают им свое «долой!», утверждают, что и парламентарии, и пресса куплены международными империализмом и сионизмом. Они видят угрозу в гласности, в работе средств массовой информации, подрывающих дисциплину, порядок, народную нравственность.

И нацисты, и пацисты вместо неприятной им парламентской демократии рекламируют демократию плебисцитарную, решение важных политических вопросов не через выборы и парламентскую процедуру, а путем проведения референдумов.

Нацисты, придя к власти, провели «реконструкцию в национальном духе» морали, культуры, искусства. Пацисты требуют принятия закона о нравственности, защищающего духовную среду от чуждого засорения, создания национальных средств массовой информации, прежде всего телевидения, поскольку существующие средства России «противопоказаны».

И те, и другие — ярые сторонники «оборонно-патриотического воспитания молодежи», единения армии и народа. У нацистов это проявилось, например, в объявлении 1 Мая и «праздником национального труда», и «днем германского вермахта». У испанских фалангистов — в их декларации о намерении превратить армию в живой эталон добродетелей, к которым следует стремиться. Утверждалось, что вся жизнь Испании будет проникнута военным духом. Аналогичную и в содержательном, и в текстологическом смысле риторику можно найти в многочисленных в последнее время заявлениях Союза писателей РСФСР.

И для тех, и для других характерен истерично декларируемый пуританизм, объяснение «распущенности нравов» буржуазным, плутократическим, расовым (инородческим) влиянием.

При этом и нацисты, и пацисты отводят женщине вполне определенный шесток: дети, кухня, церковь (национальное самоуглубление). Так, созданная в 1919 г. немецкая рабочая партия (именно она годом позже переименуется в НСДАП) требовала обеспечить «всегда полный кухонный горшок и многодетную семью», наши пацисты требуют «избавления женщины от недобровольной эмансипации и возвращения ее в семью, где она выполняет роль матери, хранительницы очага и опоры нации».

9. Антиинтеллектуализм. Интеллект ведь опасен для шаманящих и заклинающих. Сон разума рождает чудовищ. Поэтому и необходимо разум усыпить. Вот один из вождей итальянского фашизма, Фариначчи, выступает на фашистском съезде в 1925 г.: «Мы остерегаемся большой эрудиции и интеллектуально развитых людей. Мы уверены, что на эрудиции и интеллекте далеко не уедешь, так как побеждают идеи живые, ясные и доходящие до сердца. Поэтому естественно, что многие так называемые интеллектуалы — враги режима».

Задача школы, как ее понимали нацистские идеологи,— закалять души, внедрять национальный дух. Воспитание должно обязательно осуществляться в национальном духе.

Знакомая, знакомая песня. Вот и в предвыборной программе блока общественно-патриотических движений России утверждается, что «школа должна готовить полноценного добросовестного труженика, а не полузнайку по всем проблемам». Полузнайка или знайка — категории оценочные, но вот то, что возможность самостоятельно, опираясь на знания, судить о всех проблемах для пацизма опасна,— это вполне характерно.

Отсюда и множащиеся нападки на ученых, особенно экономистов, отсюда и яростные требования «оградить» народ от интеллектуалов (обычно называемых интеллектуальной буржуазией), заткнуть им рот в законодательных органах — надо же защитить свои «живые и ясные» идеи от научного анализа.

10. Антилиберализм, отвращение к свободе, к индивидуальному самоопределению человека, навязывание вместо них «национально-государственной идеи».

Нацистский идеолог Дитрих: «Нет и не может быть свободы личности. Есть только свобода народов, наций, рас, ибо они и есть материал и историческая среда, в рамках которой только существует жизнь индивида».

А вот все тот же главный редактор: «У нас идет борьба мировоззрений. С одной стороны, исповедующие национально-государственные идеи. С другой, те, кто считает, что превыше национальных и народных интересов могут стоять права личности и права человека».

Понятно, что последние жестко осуждаются и обличаются. И в том, и в другом случае налицо ярко выраженный и национально окрашенный этатизм. «Ты — ничто, твой народ — все», растворение личности в нации, борьба против буржуазного индивидуализма. «Общее выше личной выгоды» (это из нацистской программы 1920 года), точно так же и сейчас звучат требования подчинить личное общему национальному делу.

11. Экономическая программа. На ней остановимся несколько подробнее.

Характерно, что с самых своих младых ногтей оба движения выдвигают уравнительно - антиплутократические лозунги. 1919 год. Уже известная нам



немецкая рабочая партия требует ограничить ежегодный доход каждого немца 10 тысячами марок.

1989 год. Идеологи пацизма считают годовой доход свыше 6 тысяч рублей предосудительным и нетрудовым, а в ходе милой их сердцу конфискационной денежной реформы предлагают беспрепятственно обменивать одному человеку сумму до 10—15 тысяч рублей, а с остальными тщательнейшим образом разбираться.

Для нацистов было характерно обличение спекулятивного капитала, который истощает живые силы индустрии, заставляет частную собственность встать на ложный путь, способствует утрате ею национального чувства, делает ее космополитичной. Высказывание таких идей сегодня вызвало бы одобрение депутатской фракции «Россия».

Известные нацистские «25 пунктов» включали требования «ликвидации процентного рабства» и крупных торговых фирм. Нынешние идеологи не менее настойчиво требуют запрещения торгово-посреднической деятельности.

Эти настроения понятны. И в том, и в другом случае они развивались на фоне инфляции, роста цен, дефицитов и т.д. При этом «живые и ясные» лозунги становятся средством «канализации» (это неоднократно отмечалось исследователями нацизма) народного недовольства социально-экономическим положением, опасений за завтрашний день, отводя его от основ бесперспективного экономического строя.

«Живостью и ясностью», безусловно, отличаются идеи замораживания, а еще лучше — снижения цен. Это близко и понятно всем униженным и оскорбленным, как еще находящимся в состоянии избирателей, так и уже перешедшим в категорию революционеров. Ликвидация дороговизны на товары первой необходимости была самой сильной и отнюдь не битой картой в нацистской программной колоде.

И действительно, в 1934 г. были заморожены цены на текстильные и кожевенные изделия, а затем запрещены наценки на импортируемые товары, прежде всего на сырье и полуфабрикаты. А в 1936 г. был введен всеобщий запрет на повышение цен.

На необходимости понижения цен настаивают и экономисты ОФТ. И при этом столь же мало берут во внимание простые законы денежного хозяйствования.

История показала, к чему привели благие порывы заморозить цены. В нацистской Германии дефицитные товары исчезли с рынка и появлялись только на черном рынке. На товары первой необходимости, доступ к которым предполагалось каждому немцу гарантировать замороженной ценой, была введена система распределения по спискам, в которые включались привилегированные категории. А с 1939 г. была введена всеобщая карточная система при крайне скудных нормах отпуска товаров.

Второй пункт социально-экономической комбинации — гарантии занятости, защита рабочих от увольнений. В Германии они обеспечивались принятым нацистами законом «О регулировании национального труда». А вот какими методами эти гарантии обеспечивались. В 1935 г. более четверти миллиона немцев были отправлены в лагеря трудовой повинности, где работали на особо трудоемких работах по 12 часов в день лишь за скудное питание.

Этих же гарантий требуют и представители упомянутых современных организаций. Объективно они в обоих случаях направлены на обеспечение скудно-стабильного прожиточного минимума.

Третий пункт — внешнеторговый протекционизм, ограничение участия страны в международном разделении труда, экономическая автаркия при политическом педалировании «независимости». Того же требуют и современные пацисты: «Наш блок против создания зон торговли, концессий, совместных предприятий неоколониального типа... Наши депутаты будут настаивать на аннулировании антинародных сделок и отказе от какой-либо компенсации таких сделок».

Известный исследователь идеологии фашизма и нацизма Р. Бурдерон так определяет основное содержание их программ: примат национализма, империалистические устремления, всемогущество национального государства, значительная роль армии, обличение либеральной парламентарной системы, стремление к обновлению политических нравов, корпоративный принцип, национальная роль школы. Все эти пункты пронизывают и любое программное заявление нынешних пацистов.

Дело, конечно, далеко не только в национально-расовой истории. Она является лишь одной из форм существования «раковой идеологии» и пещерного сознания. Ведь нацизм в свое время возник не только из националистической, но и из популистской клеточки. Тем более верно это для итальянского фашизма, испанского фалангизма или несостоявшихся фашизмов США и Англии. Такое люмпен-популистское течение, в составе которого все те же обманутые и обманывающиеся маргиналы, так же сориентированное на поиск врага, охоту на ведьм, деление «мы — они», существует и у нас. И хотя у него пока что нет своих органов, а сочувствующие достаточно малотиражны, о нем знают все, ведь у него есть главное, что должно быть у течений такого рода,— вожди мессианского толка. Разоблачители. Срыватели всех и всяческих масок. Обвинители и обличители, нагнетатели всеобщего страха, недоверия, подозрительности. Того страха, который рождает смелость отчаяния толпы и ведет ее на бессмысленные и разрушительные дела, жертвы и преступления, рождает готовность бросаться в крайность, легковерность в отношении «своих» и недоверие и подозрительность по отношению к «чужим», отбрасывание логики и доказательности, расчет не на рассудок, а на психологию толпы.

Эти легковерность и подозрительность, зависть и ненависть, готовность с пол-оборота завестись против «врагов» характерны для простых неструктурированных общностей людей, будь то мюнхенский пивной погреб или отечественная люмпенизированная тусовка.

Им свойственна игра на предрассудках и лжи. Гитлер писал: «Чем больше ложь, тем легче ей верят», «публика всегда предпочитает поверить хотя бы и на 90% недоказанному разоблачению, чем опровержению, хотя бы оно было обоснованным на все 100%». Практика наших дней вполне подтверждает этот вывод.

Как поведут себя в дальнейшем носители этих идей? Насколько смогут увлечь за собой широкие массы взбесившихся от «ужасов перестройки» люмпенов? Перспективы реализации их амбиций будут зависеть от многих факторов. Не в последнюю очередь от того, какую позицию по отношению к ним займут демократические движения, государственная власть, средства массовой информации.

Сделав вывод об их идейном и тактическом нацизмоподобии, я вовсе не призываю на этом основании их запрещать, арестовывать, разгонять их митинги. Слезоточивый газ, наручники и милицейская дубинка — не лучшие аргументы. Нужно взять на вооружение тот опыт, который накопили за последние 45 лет западные демократии: не давать развиваться экстремистским, террористическим тенденциям, осторожно отсекать их, ассимилируя остальных в нормальную политическую практику.

Общество должно навязать антидемократическим организациям демократические правила игры. И тогда они будут не опасны. Не смертельно опасны, во всяком случае.

Эти заметки были уже написаны, когда пришли новые известия. Во-первых, об очередном примере сердечного соглашения явных черносотенцев и стопроцентных сталинистов. Мероприятие, громко названное инициативным съездом по созданию Российской коммунистической партии (характерная деталь: буквально вселенские претензии при том, что, как выяснилось, почти все делегаты, кроме своих персон, никого не представляли). Все те же родовые признаки видны в нем и невооруженным глазом. Истеричность выступлений и амбициозность документов, тщательная охрана своей кухни от посторонних (прежде всего журналистских) глаз. Лозунговость и бездоказательность утверждений и Большая Ложь.

Конечно, нужно отделять тех людей, которые в тоске по справедливости, гарантиям завтрашней стабильности, возрождению национальной культуры попадаются на нацистский крючок, от тех, кто его им подсовывает. Еще Ленин в свое время предостерегал, что стихийный демократизм может принимать формы смешения большевизма с черной сотней. Нужен обстоятельный разговор об этих действительно острых и важных вопросах. Ну да это совсем, совсем другая история.

И второе. Итоги выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы. Кандидаты блока пацистов потерпели на нем сокрушительное поражение. Это, конечно, замечательно. Но хотелось бы предостеречь тех, кто по этому поводу испытывает шапкозакидательские настроения. Ведь точно так же проигрывали выборы нацисты в двадцатые годы. Но за двадцатыми пришли тридцатые. Об этом надо помнить. Малый кристалл ксенофобии, брошенный в наш перенасыщенный завистью, ненавистью, страхом, эмоциями социальный раствор, может вызвать мощную реакцию кристаллизации. Локальная раковая опухоль может моментально дать страшные метастазы по всему общественному организму. И помочь здесь может не запретительская хирургия, а спокойная и последовательная терапия — демократизация и профилактика — рост общественной культуры.

ПОЛЕМИКА

«В ДОКТОРА НАУК... ПО СПИСКУ»

Так называлась беседа с академиком В. С. Авдуевским («Огонек» № 15), в которой была подвергнута критике работа Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В частности, речь шла о встревожившем ученого постановлении, разрешающем специальному совету ВАК присваивать ученые степени специалистам, работающим по программе «Энергия — Буран», без защиты диссертаций.

Выступление академика Авдуевского взволновало научную общественность. «Огонек» получил много писем, в редакцию звонили ученые, конструкторы. В Комитете по социальным аспектам научно-инженерной деятельности при Союзе научных и инженерных обществ СССР состоялось обсуждение «огоньковского» материала.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

Считаем своим гражданским долгом поддержать публикацию журнала «Огонек» № 15(1990 г.) «В доктора наук... по списку».

Принятое Советом Министров СССР в конце прошлого года постановление о создании специализированного совета, которому предоставляется право присуждать ученые степени без защиты диссертаций, без представления научных докладов, без сдачи кандидатских экзаменов, без рассмотрения на экспертных советах ВАК, вряд ли будет способствовать развитию науки в нашей стране. По нашему глубокому убеждению, утвержденное Советом Министров СССР «Положение о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий» также не отвечает духу времени и переменам, вызванным перестроечными процессами в нашем обществе.

Вызывает глубокое недоумение сам факт утверждения проекта «Положения» без предварительного обсуждения и согласования в Комитете по науке, народному образованию, культуре и воспитанию Верховного Совета СССР. Считаем: надо ликвидировать связь ВАК с Советом Министров СССР, вывести ее из подчинения командно-административной системе.

Выражаем надежду на то, что общее стремление улучшить положение дел в науке принесет реальные результаты при активном участии широкой общественности.

Академик А. Л. ЯНШИН.
Академик Б. В. РАУШЕНБАХ.
Академик Н. Н. МОИСЕЕВ.
Академик В. П. МИШИН.
Академик, народный депутат СССР Г. А. АРБАТОВ.
Член-корреспондент АН СССР, народный депутат СССР С. С. АВЕРИНЦЕВ.
Доктор юридических наук, народный депутат СССР А. А. СОБЧАК.
Кандидат технических наук, народный депутат СССР И. И. ЗАСЛАВСКИЙ.
Доктор экономических наук, народный депутат СССР Г. Х. ПОПОВ.
Кандидат исторических наук, народный депутат СССР Е. А. ГАЕР.
Доктор медицинских наук, народный депутат СССР Ю. Н. ЩЕРБАК.
Кандидат исторических наук, народный депутат СССР С. Б. СТАНКЕВИЧ.
Народный депутат СССР В. А. ЛОГУНОВ.

ФРАГМЕНТЫ ОБСУЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛА «В ДОКТОРА НАУК... ПО СПИСКУ» в Комитете по социальным аспектам научно-инженерной деятельности при Союзе научных и инженерных обществ СССР 18 апреля 1990 г.

А. Н. Ежов, зав. отделом ЦНИИ экономики и управления строительством Госстроя СССР, народный депутат Моссовета.

— Считаю, что академик Авдуевский справедливо возражает на страницах «Огонька» против возмутительного постановления о присуждении ученых званий без защиты диссертаций неким «избранным».

Деятельность ВАК уже много лет вызывает недоумение. С приходом нового председателя ВАК академика Е. И. Шемякина наметились некоторые сдвиги к лучшему: несколько сократился аппарат, включая руководящих работников, отдельным руководителям, скомпрометировавшим себя, пришлось сменить место работы, председатель ВАК стал принимать соискателей, вникать в конкретные дела и по некоторым «гиблым» делам даже добился справедливого решения. Наконец, была подготовлена новая редакция «Положения о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий». Однако данное «Положение» разочаровало. Оно исходит из посылки незыблемости и непогрешимости самой системы аттестации. Принято оно келейно, втайне от научной общественности, без обсуждения в печати, вопреки мнению специалистов Верховного Совета СССР.

Сегодня уже 360 человек, работающих над программой «Энергия — Буран», стали в очередь за учеными степенями без диссертаций. Мы должны активизировать все демократические силы против таких нарушений.

А. Д. Фролов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Московского государственного историко-архивного института.

— У нас существует совершенно несуразная система присуждения ученых степеней. Считаю, что от централизации надо отказаться. Диплом должны выдавать научные учреждения, а «табель о рангах» таких научных учреждений известна во всем мире.

Е. А. Гребеников, доктор технических наук, заведующий лабораторией Института проблем кибернетики АН СССР.

— «Огонек» правильно выступил: ни в одной стране мира нельзя получить ученую степень без представления научных работ. Получается какая-то перевернутая система.

Что касается гуманитарных наук, то в западных странах по ним вообще нет ученых степеней. Можно быть профессором, но нельзя защититься и стать доктором наук по любой из гуманитарных дисциплин.

А. В. Ильичев, доктор технических наук, профессор, начальник научно-инженерного центра НПО машиностроения, член экспертного совета ВАК СССР.

— Полностью согласен с выступлением «Огонька». Само словосочетание «присуждение без защиты» является синонимом термина «присвоение» и противоречит существу понятия «присуждение» как результату доказательства и защиты личных позиций, представленных автором в его научном труде.

Я высказываю здесь не только личное мнение, но и группы ученых — экспертного совета по авиационной и ракетно-космической технике. Они глубоко озабочены возможностью присуждения ученых степеней без проведения публичной защиты, созданием льготных условий для лиц, не способных (или не желающих) обобщить результаты личной работы в виде научного труда, который мог бы широко использоваться в дальнейшем. Вызывает опасения и возможность административного присвоения результатов коллективного труда.

Это не может принести пользы ни созданию новой высокоэффективной техники, ни подготовке научных кадров.

Из беседы корреспондента «Огонька» с председателем ВАК академиком Е. И. Шемякиным.

— Коль скоро «Огонек» заинтересовался нашими проблемами, хотел бы начать с того, что ВАК в его сегодняшнем составе во многом продукт перестройки. Я стал председателем ВАК лишь осенью 1987 года. Разумеется, работа комиссии и сегодня далека от идеала, многое здесь надо еще совершенствовать, а то и просто менять, но отвергать почти все начисто вряд ли целесообразно.

Главное острие критики направлено на то, что новое «Положение о порядке присуждения ученых степеней», утвержденное Советом Министров 30 декабря 1989 года, принято без обсуждения. Не так это. Работу начали три года назад Академия наук СССР и ВАК. Затем Совет Министров принял решение — одобрительно отнестись к проекту «Положения» и опубликовать его, что и было сделано в «Бюллетене ВАК» и в «Экономической газете» в марте прошлого года.

Госкомитет по науке и технике создал комиссию для рассмотрения предложений под руководством академика О. М. Белоцерковского. Пришли сотни писем с замечаниями, дополнениями, которые учли при доработке документа. Были проведены обсуждения проекта в Москве, Ленинграде, в Сибири, на Дальнем Востоке... Когда работа над документом окончилась, академик Белоцерковский сообщил об этом академику Ю. А. Рыжову.

Болезненно воспринято, что по новому положению поднята роль специализированных советов, ученых, деятельность которых ранее в известной мере ВАК подавлял. Мне кажется, что лозунг «Вся власть Советам» справедлив и для нашего случая, важно, чтобы в них входили специалисты высокого научного уровня.

Это же относится и к экспертным советам, которых в составе ВАК тридцать семь, по всем отраслям науки и техники. Появились специальности, которых раньше не было.

Утверждение, что экспертные советы не нужны, неверно. Контроль над защитой, особенно докторских диссертаций, необходим, иначе может упасть научный уровень работ, и наука от этого не выиграет.

Основная критика академика Авдуевского направлена против того постановления Совета Министров, которое я с вами, к сожалению, обсуждать не могу, не имею права... Пока в мире существуют границы между государствами, у нас в стране есть определенные правила, соблюдать их мой профессиональный долг. Если они будут отменены, другое дело.

А вот на утверждение, что ВАК не нужен вообще и нигде в мире нет аналогичной системы, возражу. Основа деятельности ВАК — организация научного потенциала страны. В США, скажем, аттестация идет в университетах под руководством Министерства образования, в ФРГ — Западногерманской конференции ректоров. Они выполняют функции, аналогичные функциям ВАК, так что такая работа выполняется правительственными учреждениями или под контролем правительства.

И последнее. При всех обстоятельствах незыблемым должно оставаться, чтобы диссертация представляла собой единолично написанную работу, свидетельствующую о личном вкладе автора в науку. И так же незыблемыми должны оставаться публичная защита и тайное голосование. Нарушение даже одного из этих принципов губительно для науки, приведет к нигилизму, анархии. Разрушить все можно. Ломать — не строить. Но с чем тогда останемся? Если именно это беспокоит моих оппонентов, то я с ними вполне согласен.

Подготовила Ванда БЕЛЕЦКАЯ.

«...В БОРЬБЕ ЗА ЭТО»

Дмитрий БИРЮКОВ

КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ

Рисунок Левона ХАЧАТРЯНА

«Завтра вам надо сдать партбилет»,— сказал, не глядя на меня, кадровик. И я, полностью подготовленный к выезду в Индию в качестве корреспондента Гостелерадио, беспомощно сел на краешек стула. «Почему?» — чуть было не крикнул я. Но сдержался. В нашей системе крики не поощрялись, а вопросы не задавались. В атмосфере империалистического заговора против Страны Советов они воспринимались как покушение на святое. А поскольку никто после смерти очередного советского лидера не знал, что является святым в настоящий момент, все хранили молчание. Я сдержался еще и потому, что накануне был ознакомлен с правилами поведения советского человека за границей. Из документа, написанного, видимо, для конспирации так, что не каждый владеющий русским мог его понять, стало ясно: за границей я не имею права вступать в контакт с иностранцами. Понятие «контакт» не было расшифровано, и поэтому я поинтересовался, можно ли брать интервью. «Вам там скажут»,— ответил кадровик.

Я больше не задавал вопросов. Дома мое сообщение вызвало неоднозначную реакцию:

«Господи, какая тебе разница, ведь все равно едем»,— сказала жена.

«Сынок,— начала мама, коммунист с тридцатилетним стажем,— завтра ты пойдешь в ЦК КПСС, там расположен мозг всех коммунистов. Там знают лучше нас, что делать».

«Когда мы ходили в разведку,— сказал дед, смахнув украдкой слезу,— то оставляли все документы в части. Значит, там будет трудно».

На следующее утро я отправился в ЦК КПСС сдавать партийный билет. «А где тут у вас это?» — поинтересовался я у прапорщика, показывая свой загранпаспорт. «Ждите»,— ответил прапорщик и пальцем указал на очередь. Приговоренных к сдаче партбилета было много. Очередь медленно продвигалась вдоль стены к маленькому окошку. От переживаний я поддался воспоминаниям. В сознании всплыл образ секретаря парткома, рекомендовавшего меня в партию.

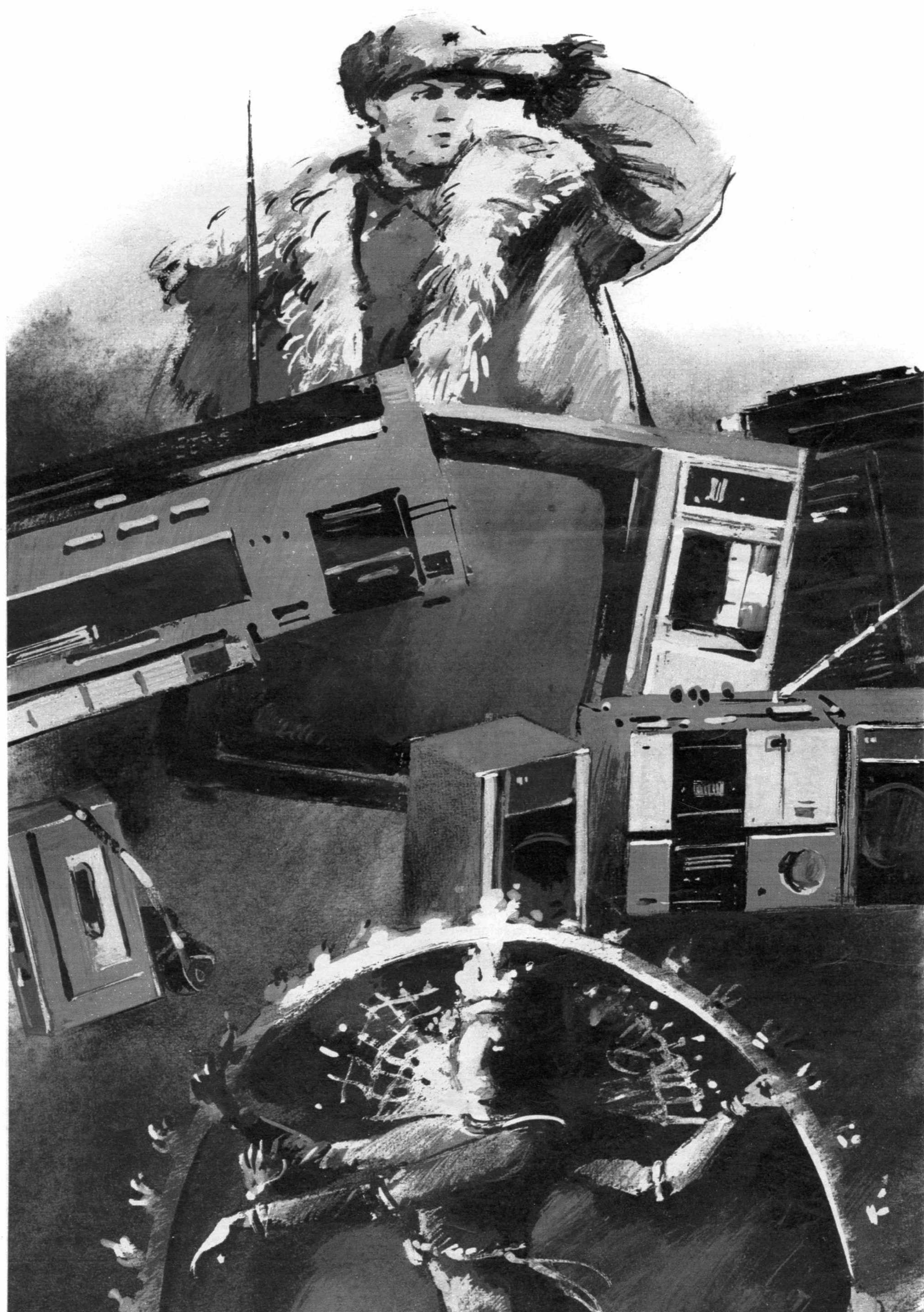
«Следующий»,— раздался голос. Я протянул партбилет и через минуту получил листок бумаги, на котором было черным по белому написано... «член профсоюза». Я открыл рот, но, глянув на очередь, подавляющую спокойствием, закрыл его.

«Что значит член профсоюза? А самое главное, какого? Может быть, это дипломатический ход?» — задавал я себе вопросы, пытаясь понять смысл происходящего.

В тот же день, когда я сдал партбилет, моя жена таким же образом из комсомолки превратилась в «физкультурницу».

Оказавшись наконец в Индии, я быстро забыл о волновавших меня вопросах.

Помня о правилах поведения, я был страшно напряжен. «Советский сотрудник за границей должен выглядеть всегда опрятно». Я поступил в соответствии с инструкцией. Но в белой рубашке и галстуке явно не вписался в жизнь



посольского городка, где женщины ходили по улице в папильотках, а мужчины — в тренировочных брюках с отвислыми коленками.

Меня предупредили: посольство строго охраняется. Но кто пропустил тогда индийца-торговца, который рано утром у моих дверей провокационно закричал по-русски: «Мясо, дают мясо!»

Я не смог понять смысл обязательного субботнего посещения посольского клуба, просмотра фильма. Стоило мне не прийти всего один раз, как в понедельник общественность заинтересовалась моим самочувствием, недвусмысленно намекая, что мое отсутствие может быть расценено как нежелание приобщиться к последним достижениям советского искусства. На шестом доброжелателе я сломался и стал исправно посещать субботние мероприятия.

Я с удивлением узнал, что, помимо «членов профсоюза» и «физкультурников», которых возглавлял внушительного вида физрук, существовал еще и местком. Кто конкретно входил в местком и чем занимались его члены, узнать не удалось.

Я встретился с председателем профкома. «Как у вас дела с общественной работой?» — поинтересовался он. «Видите ли, надо сначала вникнуть, разобраться». «Общественная работа — наша основная обязанность, и вы, как член профсоюза, должны это хорошо понимать,— отчеканил председатель.— Да, кстати, как вы относитесь к тому, чтобы возглавить женский семинар?» «Видите ли, я не так давно женат, тема мне не очень знакома». «Я не об этом,— сказал председатель.— Будете женам журналистов рассказывать о международном положении». Я понял: это проверка. Ну как я мог рассказывать о международном положении, если наши газеты приходили с опозданием на три недели, а индийские трактовали многие события, мягко говоря, иначе?

Мои обязанности корреспондента отнимали совсем немного времени. Раз в день мне звонили из Москвы и просили подготовить отклики на последние мирные предложения советского руководства. Поскольку советская внешняя политика была последовательной и преемственной, то и отклики сохраняли свою неизменность. Договариваясь с членами парламента Индии о встрече, я всегда, помня о правилах поведения, старался сделать так, чтобы интервью не превратилось в «контакт». «Как вы оцениваете мирные предложения СССР?» — спрашивал я и ждал, пока мой собеседник формулировал свое одобрение. Если же член парламента начинал анализировать предложения и говорить, что он их не совсем понимает, то я, как это было принято на Гостелерадио, выключал магнитофон и больше никогда с этим человеком не встречался. Так что с работой проблем не было. Председатель профкома мог быть спокоен. Но как он отнесся к тому, что я совсем не участвую в общественной жизни? Достаточно ли того, что я регулярно посещаю профсоюзные собрания. Кстати, именно там я впервые увидел все наше руководство.

В тот день речь шла о шахтерах Донбасса и о том, как они в поте лица добывают уголь, как мы в советской колонии неразумно тратим вырученную от продажи угля валюту. Нарисовав эту страшную картину, оратор предложил для экономии валюты на два часа отключать по всему посольству кондиционеры и отправлять всех беременных женщин рожать в Москву. Я, конечно, знал, что в посольском гараже появился только что купленный представительский «каддилак» посла, на стоимость от которого можно было купить всю производимую в Дели электроэнергию и оплатить роды всем членам советской колонии, включая мужчин. Но «каддилак», видимо, проходил по другой статье расходов.

На втором собрании речь зашла о корреспонденте Гостелерадио. Мне поручили продвигать советские фильмы на индийское телевидение. После собрания советник по культуре, бывший мотогонщик, вручил мне видеокассету с записью выступления советского лидера на XXVI съезде КПСС с английским переводом. Я отвез кассету на индийское телевидение и вручил ее редактору передачи, который, глянув на название, забыл попрощаться.

На следующем партсобрании, после того как стало ясно, что запись бывшего лидера по телевидению не пойдет, я был подвергнут резкой критике за то, что не смог продвинуть фильм, пропагандирующий советский образ жизни.

«Это конец»,— подумал я. Отзовут. И тогда, уже догадываясь о власти слухов в посольской жизни, я решился на отчаянный шаг: как бы к случаю заметил в столовой, что председатель Гостелерадио охотится с самим главою государства. Сработало. Я сразу же оказался в гуще событий.

Однажды меня срочно вызвали в посольство. Совещание в узком кругу вел советник по безопасности. По его мнению, посольский доктор, вступив в тайный сговор с индийскими коллегами, направлял многих совслужащих на операцию аппендицита без нужного диагноза. «Раньше у наших аппендицита не было»,— веско заметил советник и вызвал свидетеля, только что перенесшего операцию. Свидетель, поднятый с постели, волновался и, видимо, поэтому все время повторял: «У меня очень, очень болел живот». На четвертый раз советник не выдержал: «Ну и что? А вы знаете, сколько чеков обменял доктор?» «Сколько?» — заинтересовался свидетель. Узнав сумму, все стали производить подсчеты, понятные только командированным. «Если они не ели и не пили, то получается»,— подал голос бухгалтер. «Но ведь у него жена работает»,— вспомнил кто-то. «Все равно много»,— сказал советник и закрыл совещание.

Когда доктор улетал в Москву, неожиданно выяснилось, что в посольстве у него много друзей и все хотят с ним передать весточку на родину. Доктор никому не отказывал. Но по дороге в аэропорт выбросил почту, чем обрадовал местных нищих, решивших, что письма пришли к ним из Советского Союза. Доктор оказался прав. После четырехчасового обыска и личного досмотра в Шереметьеве его спросили: «Где пакет, который вам передали перед отъездом?»

На следующий день в посольстве поползли слухи, что доктор вывез в Москву три тонны имущества и теперь находится под следствием. Но я-то знал правду.

Оказавшись в самой гуще информации, я понял, что слухи во многом заменяют спецсвязь и газеты. Мне поведали, что один из советников-посланников до переезда в Индию был помощником члена Политбюро по сельскохозяйственным вопросам, что ожидается падение курса рупии и поэтому надо менять целиком зарплату на чеки. Что все руководители нашего профкома приехали с Украины, потому что именно она (используя посольскую терминологию) традиционно питала наше посольство. Мне сообщили, что и последний советский лидер очень плох и не за горами... (в этом месте собеседник показал на зал для приемов, где по сложившейся традиции устанавливали фотографию покойного).

Слух подтвердился. Вся печать была полна откликов. Об этом столько твердили местное радио, телевидение, что можно было подумать, что лидер умер не у нас, а в Индии. Но ничто не нарушало привычную жизнь посольства. Как всегда, в 5 часов утра на крыше жилого дома собирались наши женщины, чтобы подставить свои тела восходящему солнцу и принять нужную позу, рекомендованную инструктором-йогом, который время от времени подходил к какой-нибудь из дам и, беря ее за грудь, восторженно произносил: «Какая у вас прекрасная грудная мышца». «А у меня? А у меня?» — завистливо спрашивали женщины, и йогу до шести утра приходилось сжимать грудь всем по очереди.

Но спокойствие было только внешним. Все чего-то ждали. Пронесся слух, что в Москве идет резко омоложение кадров. Особенно обращают внимание на возраст тех, кто был близок к предыдущим руководителям. После этого утренние летучки у посла стали напоминать проводы на пенсию. Но время шло, а посла не снимали. После слуха о новых вакансиях в Москве и о том, что новые лидеры подбирают команду, многие неожиданно стали собираться в отпуск. Но отпуска были запрещены под видом приближающихся торжеств.

И тогда произошло удивительное событие, которое по праву красными буквами вписано в летопись нашего посольства. После торжественного приема в посольстве по случаю 1 Мая, опрокинув последний фужер шампанского, отделение ТАСС затянуло «Утро красит нежным светом», которую подхватили и остальные. Но поскольку песню мало кто знал, то большинство перешли на мычание, по мотиву напоминавшее «Врагу не сдается...».

Пока рядовые члены колонии приходили в себя от поступка, руководство решило взять инициативу на себя. На торжественном обеде, посвященном 9 Мая, главный советник первый тост предложил за Сталина. Большинство присутствующих с ним были не согласны. Но после небольшой заминки все выпили до дна и стоя. Весть облетела посольство, и ожидание развязки усугубилось. Первым такого напряжения не выдержало отделение АПН, которое в целях конспирации в справочниках в Индии значилось просто как управление информации. Их сотрудник утром поехал играть в теннис и не вернулся. Его машину нашли открытой около корта. Четыре дня это событие считали провокацией спецслужб. Когда же выяснилось, что переводчик действительно играет в теннис, но уже под Нью-Йорком, событие стало именоваться потерей бдительности. Обстановка еще больше обострилась. Как бывает в таких случаях, ожидание сменилось массовым безумием. Некоторые сотрудники заказали по каталогам огромную партию магнитофонов и мгновенно перепродали их в Индии, вызвав резкое понижение цен на «черном» рынке.

По всей колонии началось повальное увлечение игрой в «Монополию». Особенно неистовствовал член бюро профкома Зеллипоков, который привнес в эту игру некий таинственный политический смысл. Он переименовал карточки «комьюнити чест» в «коммуниста» и каждый раз, когда вытягивал их, заклинал, приводя присутствующих в трепет: «Ну, коммунист, помоги коммунисту». Многие балдели от слова «коммунист», потому что за долгие годы слышали его впервые.

Дальше так продолжаться не могло. Слухи невозможно было слушать. Шептались, что новый лидер взялся за дело круто. Сообщали, что разоблачены десятки дипломатов, занимавшихся контрабандой. Рассказывали о разоблачениях подпольных операций представителей Аэрофлота, скупавших в Малайзии видеомагнитофоны и перепродававших их с баснословной прибылью в среднеазиатских республиках...

И тогда, видимо, под воздействием энтузиазма разоблачений активисты решили провести собрание. Но второй этаж посольства считал, что нужно дождаться кого-нибудь из центра.

Москва никого не присылала. От напряжения коллектив зашкаливало. И тут главный советник издал приказ о ежедневной репетиции операции (по отражению нападения и попыток захвата посольства). В операции принимали участие все сотрудники службы безопасности и технический персонал. После двухдневной тренировки, во время которой отключался свет, вырубались кондиционеры, а в жилые помещения при 40-градусной жаре подавался теплый воздух, колония не выдержала и провела собрание по этажам с вызывающей повесткой дня: «Решения последнего Пленума — в жизнь». Руководство в ответ назначило общее собрание под девизом: «Обсуждение решений последнего Пленума». Открытию собрания не помешал даже тот факт, что в фойе конференц-зала обнаружили ядовитых змей-минуток. Активисты переловили их голыми руками. Председатель профкома решил отойти от шаблона и сразу объявил прения. Они начинались с его двухчасового доклада «О вкладе колонии в дело укрепления дружбы между народами», в котором он проследил историю развития отношений со времен дружественного визита в Индию Афанасия Никитина. «Мало мы работаем, товарищи, но сегодня, глядя на вас, я вижу, что у нас есть большие резервы»,— завершил выступление председатель профкома, явно намекая, что он знает, сколько у кого резервов.

Настроение в зале несколько изменилось. Первым слово взял представитель отдела внешней политики. Не решаясь вступать в открытую полемику, он сконцентрировался на милитаризации детей в колонии. Это был мощный, но скрытый удар по руководству, поскольку все были в курсе недавнего ЧП — взрыва нового дизеля электростанции, который совершил сын временного поверенного. «Я предлагаю запретить луки и стрелы, петарды и автоматы,— сказал представитель и перешел на зловещий шепот,— нас окружают индийцы. Обслуживающий персонал. Глядя на наших детей, что они могут подумать. Сегодня Афганистан. А завтра Индия». Аплодисменты сопровождали его до места. Уже сидя, он продолжал кланяться. Следующим на трибуну взбежал сотрудник консульства и потребовал немедленного запрещения поездок женщин на рыночную «кучу». Так именовалась в посольстве распродажа дешевых индийских тряпок, сваленных кучами на земле. Зал затих. Парень метил высоко, но, видимо, поняв, куда его занесло, внезапно изменил голос, закончил выступление странной фразой: «Вот женщины ездят и ездят, а если их кто-нибудь украдет? Потом же все посольство переболеет».

«Эх, не надо было об этом»,— вздохнул мой сосед. Собрание иссякло. Поникли и энтузиасты разоблачений.

Слух о закрытии «Березок» на родине и отмене чеков буквально парализовал нашу жизнь. «В Москву. В Москву»,— как сомнамбулы твердили люди, атакуя свои ведомства прошениями. Слух о введении таможенных пошлин на ввоз имущества и финансовой декларации на покупку дорогих вещей ввел людей в состояние транса. К отъезжающим же относились так, словно они выиграли автомобиль в «Спортлото». В посольстве творилось невообразимое. Женщины вели себя необузданно, в то время как мужчины поодиночке или группами ездили в ближайший штат Химачал-Прадеш за спиртным, не добрым словом поминая власти Дели за введение сухого закона.

Временная апатия сменилась таким приливом ненависти, что даже афганские эмигранты не решились проводить перед нашим посольством традиционную манифестацию протеста. Исчезли разногласия. Ненависть к переменам сплотила всех. И тут до меня дошло, чего нам так долго не хватало,— единения.

Мне было жалко уезжать из Индии.

Получая в Москве свой партбилет, я все же не сдержался и спросил: «А почему его надо было сдавать?» «На Западе никто не должен знать, что у нас там большевистские ячейки»,— поставила меня на место учетчица.

— Но Индия — Восток.

— Тем более... Не мешайте работать,— сказала женщина, и я услышал недовольный гул очереди.



Степан Давымука после принятия присяги.



Отставка...

«ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ...»

Георгий РОЖНОВ

Бороться против власти мы, кажется, уже умеем. Испытанный прием: собирается на площади у главного партийного дома многотысячная толпа, люди часами кричат «Долой!», хором требуют отставки либо одного первого секретаря, либо всего бюро сразу. Первый может еще поупрямиться, огрызнуться, но если люди за окном не угомонятся, а их требования к тому же поддержат наиболее дальновидные соратники, тогда он подаст срочно созванному пленуму требуемое заявление, соберет бумаги в папочку и горделиво уйдет. Так было в Волгограде с Калашниковым. Почти так же в Тюмени с Богомяковым. Похоже — в Свердловске с Бобыкиным.

И все же буду точнее — во всех трех городах была борьба не столько с властью, сколько с властями, за замену утративших доверие лидеров теми, кому народ еще может поверить.

Совсем другое — борьба за власть. Здесь мы едва не профаны. Да и откуда было взяться умению, если семь с лишним десятилетий одна только мысль об этом полагалась крамольной, контрреволюционной, а потом и антисоветской, если нам давно вбили в голову, что такая борьба предполагает только заговор, мятеж, низвержение строя и покушение на все идеалы социализма, вместе взятые? Если еще совсем вчера клеймились такие естественные в любом правовом государстве понятия, как оппозиция, фракция, блок? Выросшие в казарме однопартийного тоталитаризма, мы посмеивались над стычками лейбористов и консерваторов, демократов и республиканцев, не понимая, что их соперничество является гарантией и демократии, и общества, которое привыкло быть свободным.

Не потому ли мы так долго, так робко даже в годы перестройки шли к первым в нашей стране свободным выборам, не оттого ли такая была стеснительная робость и иносказания в программах многих кандидатов? Вспомните, каким вопросом на предвыборном митинге можно было загнать в тупик практически любого кандидата? Вот он, испытанный не раз: «Вы рветесь к власти? Вы хотите сесть в руководящее кресло?» Вспомните, кто и когда ответил утвердительно: «Да, я борюсь за власть. Да, я хочу быть председателем исполкома»? Пожалуй, уже вошло в историю имя депутата Оболенского, предложившего свою собственную кандидатуру на пост Председателя Верховного Совета СССР,— безумству храбрых! Был еще такой случай?

Один назову. В конце лета прошлого года я был во Львове на массовом митинге, участвовали в нем и высокое здешнее начальство, и неформалы. Добрая моя знакомая, одна из лидеров Руха Ирина Калинец, перед началом речей показала мне, кто есть кто, а потом вдруг возьми и скажи:

— А вот Степан Давымука — наш будущий председатель облисполкома. Кибернетик, философ, экономист.

Я вежливо улыбнулся — в нескольких шагах от нас стоял председатель нынешний, я видел, как он подъехал на своей «Волге» с желтыми фарами, как вытянулись перед ним высокие милицейские чины, как уверенно и вальяжно пронес он себя к помосту с микрофонами. А тут мне показывают на какого-то эрудита, неприлично для такой должности молодого и соответственно неприлично одетого в джинсы и рубашку без галстука.

— Когда же его поздравлять? — все с той же глупой улыбкой спросил я Ирину.

— А после выборов, в апреле. Если, конечно, победим.

Признаюсь, названную мне фамилию будущего областного головы я тогда сразу же забыл, а почему называю сейчас — об этом чуть позже. Важно другое, главное: Рух и его единомышленники, объединившиеся в Демократическом блоке Украины (ДБУ), уже в первом туре выборов выполнили задачу, которую никогда и не скрывали,— получили в областном, городском и всех районных Советах Львова большинство. После второго тура — большинство абсолютное.

А власть?

Вот об этом и будем говорить. Вопрос этот, как полагаю, волнует не только львовян. Поставим его более узко. Если стал реальностью переход власти в Советах к вчерашней оппозиции, значит ли это, что они действительно станут хозяевами во Львове и области? Сколько ни напрягаю память, не могу вспомнить ни одного политолога, социолога или экономиста, который бы был сведущ в механизме такого перехода. Надеяться, что Советы обретут власть в одночасье, как это гарантирует им Конституция,— наивно. Административно-командная система, стреножившая всю сеть управления политикой и экономикой, сама по себе не собирается поступаться ни принципами, ни хотя бы частью подогнанных под закон прерогатив. Мы что, настолько простодушны, что можем рассчитывать на добровольную капитуляцию ее охранителей? Мы разве не догадываемся, что номенклатурный аппаратчик никогда всерьез не верил в то, что настенный лозунг «Вся власть — Советам!» станет былью уже сегодня? Что все атрибуты этой власти — неприступный кабинет с секретаршей и помощником, телефон с гербом на диске, пакет с возросшим жалованьем, черный автомобиль с желтыми фарами, покорные исполнители его воли в милиции, КГБ, торговле, поликлиниках, билетных кассах, спецсовхозах и на спецучастках, в редакциях газет, радио, телевидения, издательствах — все эти дарованные с должностью явные и потаенные привилегии придется отдать ни за здорово живешь и остаться ни с чем? Нависшая над номенклатурой опасность непременно сплотит и озлобит каждого, кто принадлежит к этому клану. Они будут защищать самих себя, своих жен, детей, внуков — мор на них идет, катастрофа страшнее экологической, и не видно пока ниши, в которой можно отсидеться.

Ведь смысл революционной песни многими из них был извращен до деля-

чества: «И как один умрем в борьбе за это...»

Такие или почти такие мысли тревожили и тревожат и львовских депутатов, и их избирателей. Вот доказательство: город, привыкший к митингам, демонстрациям, пикетам, победу на выборах встретил сдержанно. Никакой эйфории — будни.

В начале апреля позвонила из Львова мама. Рассказывает: на ратуше, где горсовет, подняли новый флаг — желто-синий, старый — красно-синий — тоже висит. С мылом легче, колбаса бывает, а вот масло вообще пропало. Смотрела по телевизору — мэр давал присягу на Библии, люди плакали и крестились, может быть, масло выбросят хоть к Пасхе?

Я понял: депутаты проявляют дерзость, непослушание, присяга на Библии и официально поднятый национальный флаг (вчера еще подсудный, «националистический») — только первые их шаги по выполнению данных избирателям обещаний. Масло — потом.

А что же Киев? Когда ждать его ответного шага? И какого?

Четырнадцатого апреля, в страстную субботу, по программе «Время» смотрю репортаж из Львова. Тысячные толпы у здания обкома партии — там проходит пленум. Голос диктора: «Товарищ Погребняк освобожден от обязанностей первого секретаря и члена бюро в связи с уходом на пенсию, его заменил товарищ Секретарюк». Чего хотели люди на площади — не понял.

Через три дня становится яснее. В «Правде» информация РАТАУ — ТАСС из Киева: «Нет!» — политическому экстремизму». Вот немного из текста: **«В последнее время во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях Украинской ССР определенные политические силы, обеспечив себе в некоторых городах и районах большинство на выборах в местные Советы, начали открыто осуществлять свои амбициозные намерения. В связи с этим ЦК Компартии Украины, Президиум Верховного Совета и Совет Министров УССР выступили с заявлением. В нем отмечается, что под лозунгами возрождения национального самосознания ведется разнузданная националистическая пропаганда. Населению региона навязывается идея так называемой «галицийской автономии», активно звучат призывы к выходу Украины из СССР, созданию «самостоятельного украинского государства»... Развернута широкомасштабная кампания дискредитации Коммунистической партии, усиливается психологическое давление на коммунистов, им угрожают увольнением с работы, вынуждают к выходу из КПСС...**

В противоправную националистическую деятельность активно втягивается молодежь. Лидеры Руха, «Украинского хельсинкского союза», «Союза независимой украинской молодежи» и других политизированных группировок призывают ее к борьбе за «свободную Украину», к отказу от службы в Советской Армии и даже пытаются вербовать добровольцев в «национальные воинские формирования».

Все эти процессы, подчеркивается в заявлении, приобретают опасный характер потому, что они нередко направляются и организуются вновь созданными органами власти, в них принимают непосредственное участие народные депутаты. Уже первые решения, практические шаги органов власти, в частности во Львове, свидетельствуют об их деструктивности и сепаратистской сущности».

Концовка заявления знакомая: трудовые коллективы, ветераны войны и труда решительно требуют, решительно осуждают, а высокие авторы обещают принять решительные меры.

Удивили меня в этом заявлении не язык, не стиль, не интонация — другого не ждал. Примечательно другое: власть, существующая сегодня во Львове, потеряла в тексте привычное определение — советская.

Я дважды выстоял в очереди, купил для мамы килограмм масла и в тот же день вылетел во Львов.

Прямо с самолета — к Богдану Дмитриевичу Котику, тому самому председателю горисполкома, который присягал на Библии, но масла к Пасхе всетаки не выпросил — неоткуда. Я уже представлял его читателям «Огонька» в одной из статей, поэтому сейчас только несколько штрихов в дополнение. Котик — член партии, прошел типичный для функционера путь — был первым секретарем обкома комсомола, сиживал в ответственных кабинетах горкома и обкома партии в годы застоя. Это не помешало ему завоевать уважение и доверие горожан — избран народным депутатом Украины и областного Совета, является, пожалуй, единственным в республике мэром, который сохранил за собой этот пост после недавних выборов. Причины такой удачи? Незамаранная личная репутация и терпимость к политическим противникам, склонность к диалогу, конструктивному спору. Еще что? Обаяние.

К Котику я пришел с газетой в руках: читали? Всегда сдержанный, улыбчивый, мягкий голосом и манерами, Богдан Дмитриевич тут не совладал с собой, разговор повел жестко, постукивая ребром ладони по той самой газете:

— Как член бюро горкома и кандидат в члены бюро обкома партии утверждаю: сделанное в Киеве заявление полностью выдержано в духе застойных времен, откровенное нежелание считаться с политическими реалиями сегодняшнего дня. Грубейшая ошибка, последствия которой еще скажутся. Сепаратистские настроения? Поклеп! Идеи «галицийской автономии» — ложь. Я прожил во Львове всю свою жизнь, хорошо знаю чаяния горожан. Так вот: даже те, которых я и могу назвать экстремистами, никогда не высказывали подобного бреда. Недавно через Львов проезжал президент Ярузельский, останавливался здесь на один день. Увы, встретили его скверно. Почему? Да потому что зародилось подозрение: президент, дескать, будет пытаться отторгнуть западные области от Советской Украины. Согласен, нелепость, но важно другое: даже слух о возможном отделении Львова от Украины вывел на улицы тысячи обеспокоенных горожан, мне пришлось их успокаивать. Сепаратисты так поступают? И последнее. И я, и наши юристы убеждены, что только что закончившаяся сессия горсовета не приняла ни одного решения, которое противоречило бы Конституции СССР.

— Вы верующий? — спросил я.

— Иными словами, почему я, коммунист, присягал на Библии? Она принадлежит не только верующим — всем нам. В ней утверждаются именно те общечеловеческие ценности, которые я поклялся отстаивать.

— Почему сняли Погребняка?

— Нужно было на кого-то возложить вину за поражение на выборах — это раз. Нужно было наказать первого за признание этого поражения, за его поздравления победителям и готовность сотрудничать с новым составом Советов — это два. Нужна была сильная рука, которая может стукнуть кулаком по столу,— это три. Я на пленуме был, выступил и сразу ушел — считал бы для себя недостойным далее участвовать в этих аппаратных играх, терпеть диктат приехавшего из Киева представителя ЦК. Равно как и личные оскорбления в свой адрес.

— Погребняк действительно написал заявление с просьбой об отставке?

— А вы догадайтесь,— улыбнулся Котик.— Или лучше всего спросите у самого Якова Петровича — он здесь, во Львове. А потом подумайте, могло ли появиться подобное заявление Киева, пока Погребняк был первым секретарем обкома.

Я намеренно не спрашивал мэра, как проходила сессия городского Совета, какие решения были там приняты, по какому принципу он формировал свой кабинет — какой рассказ заменит свидетельства очевидца, которым я рассчитывал стать? Если у Котика и его коллег дни становления были уже позади и новые руководители обживали кабинеты исполкома, у облисполкома не было еще ни руководителей, ни кабинетов. Я пришел на сессию во второй после пасхальных каникул день ее работы — продолжалось заслушивание кандидатов на пост председателя облисполкома. Мне будет трудно пригласить читателя участвовать вместе со мной в работе сессии, если я хоть бегло не расскажу о человеке, который ее ведет по десять — двенадцать часов каждодневно,— Вячеславе Максимовиче Черноволе. Неделю назад он был избран председателем Львовского областного Совета народных депутатов. Ему пятьдесят четыре года, он худ, всегда бледен, голос хриплый, речь быстрая, четкая, грамотная безукоризненно. Окончил факультет журналистики Киевского университета, работал в киевской газете «Молодая гвардия», был и на комсомольской работе. С 1965 года — пятнадцать лет тюрем, лагерей, ссылки. Все то же — «антисоветская агитация и пропаганда». Книги изданы только на Западе. В 1975 году удостоен премии имени Николаса Томалина, которую лондонская газета «Санди таймс» присуждает иностранным журналистам, борющимся за права человека. Надеюсь, теперь понятно, за что конкретно навешивались Черноволу срока огромные. До сих пор не реабилитирован.

Итак, сессия — утреннее заседание 18 апреля. У стола президиума два флага — государственный и национальный. Из 197 депутатов присутствуют 172. Среди них 63 — члены КПСС, 9 — комсомольцы. Остальные тяготеют к различным неформальным объединениям, но официально полагают себя беспартийными. Четкого деления на фракции нет — и в Рух, и в созданный им Демократический блок входят немало коммунистов и комсомольцев. Несколько особняком держатся депутаты-военные, единственные, кто на всех заседаниях усаживается вместе, в ряд, на левом фланге — генерал.

Пробыв на сессии шесть дней, побеседовав и с центристами, и с умеренными, и с крайними радикалами, я не уверен, стоит ли хотя бы репортажно описывать все то, что я видел и слышал,— знакомо до боли. По трансляции заседаний Съездов народных депутатов СССР и сессий Верховного Совета СССР. Поверьте, все то же — и длинные очереди у микрофонов в зале, и реплики из зала, и вежливый прессинг председательствующего, и отклонения от регламента, и по нескольку раз в день звучащие призывы к терпимости, уважению друг друга и, конечно же, достижению консенсуса. Подчас слышатся и выступления, мягко говоря, непродуманные, поражающие опять-таки похожей крайностью суждений. Разнятся они лишь тем, что если в Москве мы слышали призывы запретить кооперативы, аренду и вообще всю перестройку разом, то во Львове предлагали изгнать из школ организации октябрят и пионеров, а в Литву послать добровольцев в интербригаду. Впрочем, реакция председательствующего здесь была жестче — от лишения оратора слова до выключения микрофона.

Что же было свое, местное, для нас пока непривычное? Многое. Если председательствующий не вмешивался (а это бывало не так часто), депутат, представлявший меньшинство, мог говорить все, что ему вздумается, и несогласное с ним большинство ни разу не пробовало захлопать выступавшего. По-моему, этот способ полемики здесь вообще не знаком. Не знаю, задумывались ли депутаты в Кремле, сколько стоит трансляция по телевидению их заседаний — здесь разговор о деньгах начался в первый же день, в городе и области об этом узнали, и тут же к сессионному залу потянулись ходоки. Каюсь, в первые два дня я подумал, что толпящиеся спозаранку у входа люди пришли к депутатам со своими жалобами, оказалось, с деньгами. К началу пятого заседания около стола президиума лежали полиэтиленовые мешочки с огромной для пожертвований суммой в 560 тысяч рублей. Иногда председатель Совета зачитывал письма, которые прикладывались к этим рублям,— без слез их слушать было трудно. Вся же почта, поступающая в адрес сессии, огромна неимоверно, свои поздравления и поддержку принятых депутатами решений прислали практически все крупные производственные и сельскохозяйственные объединения, вузы и некоторые воинские части. Все думаю: знали ли об этой народной поддержке новой Советской власти авторы уже упоминавшегося мною заявления? Уже внимательно изучив те немногие решения, которые были приняты сессиями городского и областного Советов народных депутатов, сверив свои впечатления с компетентным мнением юристов, могу свидетельствовать: ни одно из них не противоречит Конституции, ни в одном я не нашел ни сепаратизма, ни национализма, ни тем более экстремизма. Неужели и впрямь ревнителей нашей идеологической непорочности так повергли в смятение присяга на Библии, поднятие рядом с государственным флага национального и возгласы «Христос воскрес!», звучавшие на сессии в первые дни Пасхи? Конечно же, не только и не столько это — к религии мы сейчас все более чем терпимы. Другое, более серьезное: и городской, и областной Советы в своих первых обращениях к избирателям заявили, что они, согласно Конституции, полностью берут власть в свои руки и не допустят какого-либо вмешательства в свои дела партийных органов и партийных организаций. В тех же обращениях было прямо сказано об осознании того, какого сопротивления консервативных сил ждут депутаты — если помните, об этом мы уже рассуждали выше.

И ведь не ошиблись! Я думал, что заявление Киева было первым признаком начавшегося противостояния старой системы и новой Советской власти,— ошибся, сидя на скудном пайке информации ТАСС. 2 апреля, за день до открытия первой сессии городского Совета, народные депутаты получили Указ Президиума Верховного Совета Украины от 30 марта 1990 года об изменениях в структурах исполкомов областных, городских и районных Советов народных депутатов. Получили — и ахнули. Исполкомы, которые только предстояло избрать, отныне были избавлены от руководства Комитетом по радио и телевидению, облполиграфиздатом и, что вообще невероятно, Управлением внутренних дел. Честное слово, хочется воздать должное прозорливости, бдительности и быстроте реакции украинского президента Валентины Шевченко: как только стало известно, что по крайней мере в трех областях республики победил Демократический блок, его будущие исполкомы были уже наперед стреножены — не вся власть вашим новоизбранным Советам! Попробуйте-ка теперь командовать милицией, подступиться к микрофонам радио или к камерам телевидения, сунуть свой нос в цеха типографий — не власть вы для них, не начальство.

У исполняющего обязанности начальника областного УВД полковника внутренней службы И. Гоца я спросил:

— Какая теперь вывеска будет на вашем здании?

— Прежняя — «Управление внутренних дел исполкома Львовского областного Совета народных депутатов».

— Но вы этому Совету теперь не подчиняетесь. Тогда кому же?

— МВД? — сам себя спросил полковник.— Нет, вывеску снимать не велели.

— Кто?

Полковник устремил указательный палец в потолок.

Примечательно, что его подчиненные пониже рангом, особенно рядовые милиционеры, восприняли свое отлучение от Советской власти более чем болезненно, засыпали сессии протестующими письмами: у кого им теперь просить жилье, место в детском саду, садовый участок?

Не сомневаюсь, что их недовольство было одной из причин того, что в первый числах апреля во Львове был высажен массированный десант работников прокуратуры и МВД республики. В каждом райотделе, в каждом управлении внутренних дел засели теперь высокие чины из Киева — под их опекой оказались теперь все начальники, большинство следователей, оперуполномоченных, инспекторов ГАИ. От обилия звезд на их погонах подчиненным делалось муторно: теперь ими руководили первый заместитель министра внутренних дел, заместитель начальника политического управления, заместитель начальника управления охраны общественного порядка, заместитель начальника управления профилактики, заместитель начальника управления ГАИ — всего сто одиннадцать высоких офицеров министерства!

Депутатов, собравшихся на обе сессии, охватило вполне понятное беспокойство, а население — просто паника. Город, еще не оправившийся после милицейского побоища 1 октября, имел все основания видеть в прибывших отнюдь не миссию доброй воли. Заместитель прокурора республики Синяков и первый заместитель министра внутренних дел Дурдинец попытались успокоить депутатов: правоохранительные органы республики встревожены разгулом преступности в городе и области, прибыли для оказания конкретной помощи.

Уже знакомый нам полковник Гоц сказал мне на этот счет так:

— Уровень преступности во Львове и области ниже среднего по Украине. Большинство прибывших нам только мешают. И потом, как мне объяснять народным депутатам тот более чем странный факт, что бригады прокуратуры и МВД прибыли как раз накануне открытия первой сессии горсовета?

Зная по собственному опыту, чем кончаются подобные откровения с прессой для работников МВД, я очень прошу генерала Дурдинца не взыскивать с полковника слишком строго, не исключено, что тот искренне верит в гласность и право иметь свою точку зрения. И уже не мой собеседник, а я делаю из сказанного логический вывод: и своим указом, и откомандированием во Львов своих высоких эмиссаров Киев нанес ощутимый упреждающий удар по непослушным им органам законно избранной власти.

Но центр, как бы он ни был силен, не в состоянии каждодневно проводить свою политику на местах таким образом: не отправлять же ему во Львов весь состав своих ведомств? Там нужен свой человек, свои люди.

Был ли таким товарищ Погребняк Яков Петрович, первый секретарь Львовского обкома партии? До самого последнего времени — безусловно. Как и было принято в Киеве, Погребняк во Львове лихо и грозно громил неформалов, не раз грозно гремел на первого секретаря горкома партии Волкова и уже знакомого нам мэра Котика за их искреннее стремление повести диалог с тем же Рухом или иерархами до недавнего времени затравленной греко-католической церкви: «Заигрываете!»

В мягкотелости Погребняка тоже не обвинишь: и в марте восемьдесят восьмого, и в октябре прошлого года, когда милиция обрушивала на демонстрантов дубинки, первый секретарь был как бы в стороне от этого непотребства, не одобрял крайностей, но и не осуждал. На выборах и прошлого, и нынешнего года Яков Петрович ни московского, ни киевского мандатов не получил, но депутатом областного Совета все же стал. Во время предвыборного марафона Погребняк понял главное — он проигрывает людям, за которыми здешний народ. Значит, правы были Волков и Котик: с неформалами надо сотрудничать, идти на разумные компромиссы, делать общее для народа дело. Эти мысли первого секретаря, высказанные им и на бюро обкома, и на митингах, и с экрана телевизора, резко подняли его, как модно сейчас говорить, рейтинг среди общественности и послужили сигналом тревоги в центр, в Киев. Погребняк этот сигнал услышал, прикинул — до партийной конференции оставалось полтора месяца, надо было успеть изложить свою точку зрения в партийных организациях, в рабочих коллективах, не сбросить со счетов и партклуб «Демократическая альтернатива»: что-то не верится, чтобы там вели дело к расколу. Успеет!

И вот — четырнадцатое апреля, пленум, отставка.

Я дождался перерыва в заседаниях сессии, предложил Погребняку перекусить в буфете. И сессионный зал, и этот буфет делят между собой и обком партии, и облисполком, поэтому кормили депутатов с прежним размахом и даже некоей изысканностью. Официанты в смокингах, сервизная посуда, на длинных столах — что тебе угодно, бери сам и ешь. Яков Петрович спросил себе только черный кофе, долго размешивал его в маленькой чашечке, она мелко дрожала, он заметил это, рассердился на себя и положил ложку на блюдце. Подумал, положил себе свежий огурец, пару тонких сосисок. На заседания он приходит рано, усаживается в задних рядах, читает газеты. Я знал его еще при власти. От тех давних встреч новое — его частая улыбка. То ли грустная, то ли насмешливая, то ли вымученная — пока не пойму.

— Яков Петрович,— спросил я,— вы действительно написали заявление? По собственному желанию?

— Вы сосиски попробуйте,— сказал он.— Когда вы последний раз ели сосиски без целлофана?

Домешал кофе, медленно выпил чашку.

— Заявление я действительно написал. Мне позвонил Ельченко Юрий Никифорович, секретарь ЦК.

— И что сказал?

— В тот же день заявление ушло в Киев, с фельдсвязью. Это было пятого апреля.

Сегодня, когда мы встретились, Погребняк был пенсионером уже четвертый день. Пока стояли в буфете, к нам то и дело подходили депутаты — официальные лица, неформалы, два полковника, священник, жали руку, улыбались, слова говорили хорошие, добрые. Утром, когда бывший первый шел на сессию, сотни людей, стоявших у входа, встретили его овацией. Днем позже я посмотрел видеозапись той самой демонстрации, которая проходила у здания обкома во время пленума, несколько секунд она мелькнула в программе «Время». Мы привыкли к тому, что такие демонстрации первых секретарей снимают. Здесь против снятия протестовали. Было много коммунистов с заводов, из университета, политехнического, были и те, кого мы все еще именуем неформалами. В кадре я увидел Виктора Фурманова, председателя комитета защиты прав граждан, вспомнил: после милицейского побоища 1 октября он стоял впереди такой же толпы у того же здания и кричал: «Долой!»

— Виктор Афанасьевич,— спросил я,— почему вы защищали Погребняка?

Фурманов ответил:

— Дело не только в Погребняке. Если нас уверяют в том, что партия — инициатор перестройки, почему у нас, во Львове, к власти приходят лидеры времен застоя? Почему реформатора сменяет консерватор? Вы знаете, кто теперь первый? Секретарюк! Он полтора десятка лет был первым человеком в городе, с начала семидесятых годов. Сначала председателем горисполкома, потом первым секретарем горкома, в восемьдесят седьмом снят. Не консерватор? Вы посмотрите, какие решения принял обком партии в первые часы его руководства, вы послушайте его выступление перед железнодорожниками — не консерватор?

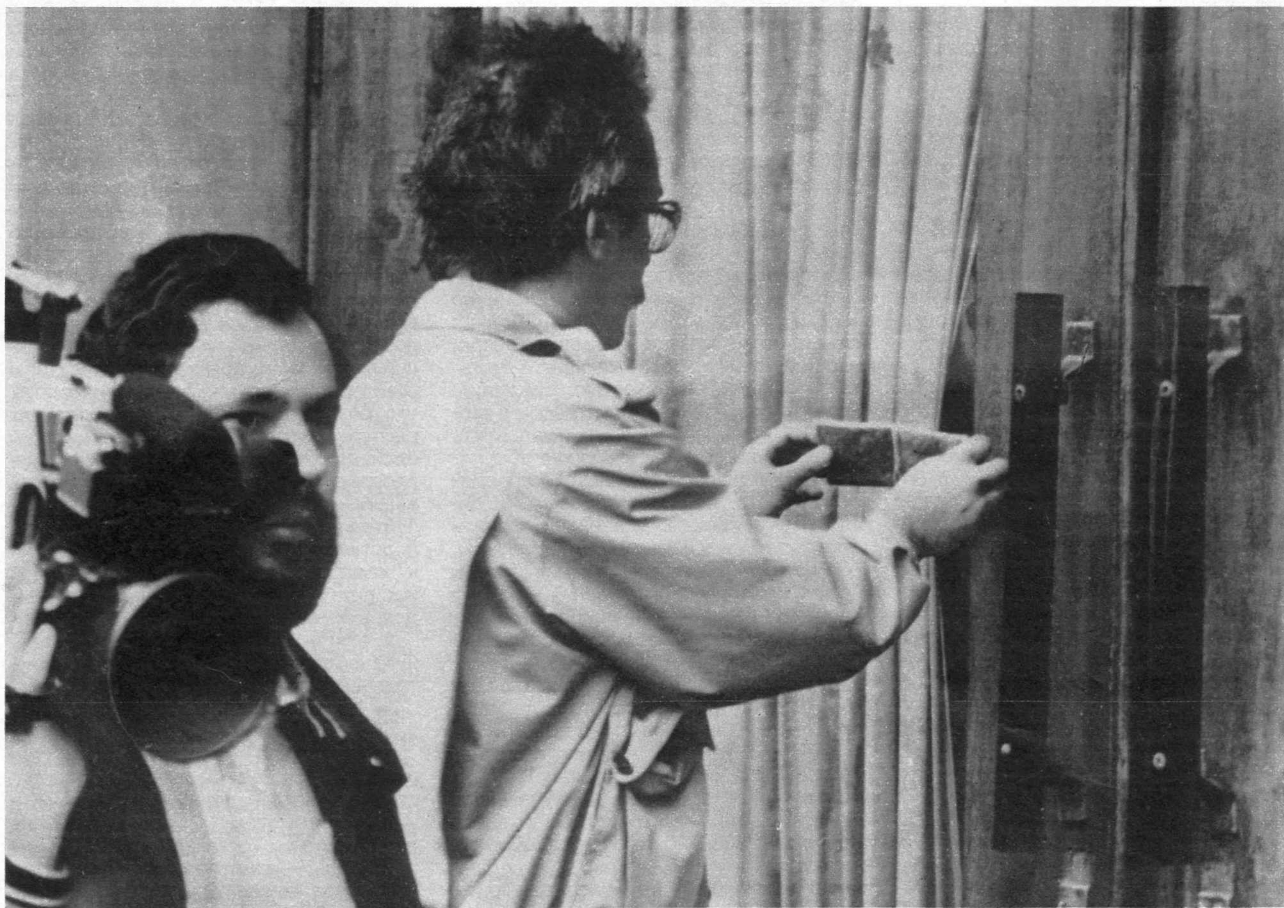
Еще один кадр видеозаписи: корреспонденты ЦТ пытаются проникнуть в зал заседаний пленума, на вахте у плотно закрытых дверей — замминистра ВД Украины генерал-лейтенант Дурдинец, строгие лица демонстрантов, транспаранты над их головами.

Первый секретарь Львовского горкома партии В. Волков:

— Накануне пленума у меня побывали секретари крупных партийных организаций: автобусного завода, ряда научно-исследовательских институтов, объединения «Львовприбор», они представляли тысячи коммунистов. Требование одно: заявление Погребняка не рассматривать, выборы первого секретаря провести на партийной конференции. Я информировал об этом участников пленума перед началом заседания. Не прислушались. Секретарь ЦК КП Украины Ю. Ельченко вел свою линию жестко, чувствовалось, что отставка Погребняка уже предрешена. Пленум шел на редкость недемократично, заседание не транслировалось ни по радио, ни по телевидению, ни одно из выступлений членов обкома не было опубликовано в газетах. К чему эта таинственность? Я думаю, далеко не все коммунисты знают, что член обкома партии, рабочая производственного объединения имени 50-летия Октября Дудыкевич заявила о своем выходе из КПСС, что члены обкома — председатель комитета охраны природы Лясковская и председатель правления Союза художников профессор Садовский — покинули заседание. Так же поступил и председатель горисполкома.

У Волкова сегодня положение не из приятных — это именно он сменил в июне 1987 года на посту первого секретаря горкома партии В. Секретарюка, который сегодня возглавил обком. Поэтому я понимаю Виктора Александровича, не пожелавшего сказать, какое наследство в ту недавнюю пору ему досталось. Да я и сам не склонен поминать кому бы то ни было его прошлое, судить с позиций сегодняшнего дня руководителя времен застоя. Поэтому давайте лучше посмотрим, что новый первый секретарь обкома партии Вячеслав Васильевич Секретарюк сделал в первые дни своего пребывания на столь неожиданном и для него, и для многих львовян посту. Посмотрим прежде всего в плане продолжения нашего разговора об отношении партийной власти к власти Советской, конкретнее — к работе и решениям сессии областного Совета. Тот памятный пленум уже под

Съемочная группа Центрального телевидения пытается проникнуть в зал заседаний пленума обкома партии.



председательством Секретарюка принял резолюцию, эхо от которой не утихает и по сей день: «Об областных газетах». Она короткая, поэтому приведу ее полностью: «Несмотря на осуществляемое размежевание функций партийных и советских организаций, пленум считает, что газеты «Вильна Украина» и «Львовская правда» и дальше должны издаваться как органы Львовского обкома Компартии Украины и Львовского областного Совета народных депутатов. В случае несогласия со стороны областного Совета народных депутатов областные газеты издавать как органы обкома партии, а областному Совету предложить вопрос о своем печатном органе решать в установленном порядке».

Едва эта резолюция была оглашена на сессии областного Совета, все намеченные к рассмотрению вопросы были отложены. Места в зале вмиг опустели — депутаты выстроились в длиннющие очереди к трибуне и к трем микрофонам. Их основные вопросы: если газеты издаются совместно, то почему обком при решении их судеб не посоветовался с сессией? Почему постановление так вольно толкует конституционно закрепленное размежевание функций партийных и советских организаций: «Несмотря на...»? Почему позволяет себе узурпировать право издания обеих газет, а с Советом разговаривает в тоне ультиматума: «предложить»? И неужели не понятно, что если вопрос об издании советской газеты будут решать в «установленном порядке», то дай Бог, чтобы читатель увидел ее первый номер хотя бы в будущем году: где найдешь бумагу, типографию, как пробьешься через бюрократические препоны этого порядка?

Каждое действие рождает противодействие, в политической борьбе тем более. Сессия тут же принимает свое решение: обкому оставить «Львовскую правду», а себе забрать «Вильну Украину». Отлично понимая, что выполнение этого постановления повиснет в воздухе, сессия требует пока что минимума — снять в обеих газетах ссылку на их принадлежность к областному Совету. Все те шесть дней, что я находился во Львове, сессия шесть раз официально настаивала на своем требовании, и каждый раз оно игнорировалось. Один из депутатов сказал мне: «У меня такое впечатление, что мы проводим не сессию высшего законодательного органа Советской власти на территории Львовщины, а некий несанкционированный митинг, резолюции которого ни для кого не обязательны».

Председатель областного Совета В. Черновол сделал устный запрос редактору газеты «Вильна Украина» Н. Ильницкому:

— Считаете ли вы себя обязанным выполнять решения Советской власти?

Редактор ответил:

— Как гражданин, обязан, а как коммунист, не могу.

Надеюсь, теперь мы начинаем более отчетливо понимать методы борьбы сложившихся у нас структур авторитарной власти с непослушными Советами. Их по крайней мере два. Первый — поражение в правах (вспомним Указ от 30 марта.) Второй: бойкот или блокирование принимаемых решений (вспомним позицию обкома и ответ редактора). Блокирование наиболее эффективно на государственном, освященном законом уровне. Пример: сессия городского Совета принимает решение о передаче собора св. Юра Украинской католической Церкви, а Президиум Верховного Совета Украины его тут же отменяет.

Чуть не забыл еще один, тоже верный метод борьбы с Советом, по крайней мере с Львовским областным: компрометация его в средствах массовой информации, в публичных выступлениях. Две львовские газеты, о которых идет спор, работу сессии освещают до того скупо, до того предвзято, что, ейбогу, стыдно за коллег. Киевские газеты откликнулись разгромными статьями в духе уже известного нам заявления, а «Правда» — карикатурой на первой полосе. И ведь стерпишь, не ответишь — своей-то газеты у облсовета нет. Идет (не могу назвать этого иначе) откровенное провоцирование общественного недовольства, потому что, как бы там ни было, областной Совет избран на легальных всеобщих выборах, и можно требовать уважения к воле народа, по крайней мере уважения и вдумчивости.

Но полемика полемикой, обиды обидами, а избиратели-то ждут от сессии ответа хотя бы на один вопрос: кто же будет областью управлять? Кому отдадут в руки исполнительную власть?

После прений, после сравнения и анализа программ пяти претендентов на пост председателя Львовского облисполкома сессия избрала Степана Антоновича Давымуку — да, того самого, чей взлет к вершине местной власти мне был предсказан еще в августе. Ему сорок три года, он выпускник здешнего политехнического института, работал начальником отдела специального конструкторского бюро производственного объединения «Микроприбор». Был членом КПСС, теперь беспартийный. Свою программу излагал с подкупающей честностью, логикой обезоруживал. Убежден, что Львовщина за годы Советской власти накопила немалый экономический потенциал, что находится в этом смысле впереди восточных областей — там индустриализация проходила в далекие времена, здесь — сравнительно недавно. На заводах и фабриках куда меньше старья, чем, скажем, в Харькове или Полтаве, а ряд предприятий вообще уникален в новизне своей технологии. Где, кроме Львова, еще выпускают телевизоры четвертого поколения и уж совсем чудо из чудес — персональные компьютеры? Крестьянство здешнее тоже крепче, чем где-либо, чувство хозяина в земледельце еще не изничтожено под корень — сорок пять лет не семьдесят три. Ну а уж беды, проблемы, напасти те же, что и везде в стране. Разговоры об автономии, о разрыве с Союзом считает бредом, безграмотностью, чушью не столько политической, сколько экономической. Другое дело, хозяйственная самостоятельность, раскованность в проведении реформ, неприемлемость диктата ведомств. Принцип подбора команды — высокий уровень профессионализма на общеобразовательной основе, демократические взгляды, ориентация в региональных политических ситуациях.

Из 171 депутата, участвовавшего в голосовании, Давымуке отдали предпочтение 142 человека. Большинство непререкаемое. Грохот аплодисментов в зале сливался с гулом восторга тысяч людей за окнами. Председатель поднялся на небольшое возвышение, положил руку на Библию:

— Я, Степан Давымука, вашей волей, уважаемые коллеги-депутаты, избран председателем исполнительного комитета Львовского областного Совета народных депутатов...

Когда короткое это торжество закончилось, я подошел к Михаилу Ильичу Кирею — минуту назад закончилось его десятилетнее пребывание в должности председателя облисполкома. Задал вопрос: «Что он желает своему преемнику?»

— О чем со мной говорить? — пожал плечами Михаил Ильич.— Я безработный.

Утром следующего дня я с местным фотокором занял позицию у входа в облисполком. Сюжет будущей съемки: новый председатель облисполкома подъезжает к подъезду — кадр. Новый председатель входит в свой кабинет — кадр. Первый посетитель, или первый звонок по телефону, или первая бумага на подпись — кадр. Нам надо было спешить — через три дня Давымука уезжал в Киев, на заседание Совета Министров.

В половине девятого мой коллега принял стойку: подъезжала знакомая ему «Волга». Из машины вышел Кирей, безработный. Милиционер отдал честь. Давымуку все же дождались — подбежал, запыхавшись, поправил галстук. «Черт бы побрал эти трамваи». Наивные мы были люди — прежний председатель не спешил расставаться ни с кабинетом, ни с автомобилем. Через два дня я видел, как Михаил Ильич подъехал на той же «Волге» к оперному театру и сел в первый ряд президиума торжественного заседания по случаю ленинской годовщины. Привычка.

Степан Антонович подписывал хлынувшие на него бумаги то в первом попавшемся кабинете, то на подоконнике, то на своем «дипломате» в сессионном зале. Я спросил: возьмет ли он себе в помощники профессионала с партийным билетом? Не будет ли в исполкоме тех гонений на коммунистов, о которых говорится в уже не раз поминаемом мною заявлении?

Председатель перестал улыбаться: ответ услышите сейчас, на сессии. После обеда заместителем председателя облисполкома был избран В. Яворский, пребывавший в той же должности при прежнем составе Совета, член КПСС.

В чем-то я понимаю тех, кто сомневается: смогут ли вчерашние гуманитарии, отдавшие годы тюрьмам и ссылкам, не поднаторевшие на государственной службе, стать сегодня управленцами? Тот же Вячеслав Черновол, председатель облсовета? К счастью, этот вопрос задал себе сам Вячеслав Максимович. Он и не собирается быть перстом указующим для строителей, мелиораторов, ученых, крестьян — для того и создается аппарат (а куда без него деться?) облисполкома с профессионалами в каждой отрасли. Что же касается политического курса Совета, его стратегических направлений, то здесь на помощь пришла группа консультантов — среди народных депутатов есть и юристы, и социологи, и политологи, не говоря уже о специалистах более узкого профиля. Это уже их забота, чтобы решения не принимались с кондачка, были тщательно сверены с действующим законодательством.

Мы все уже устали от распрей, противостояния, большинство уже не хочет больше умирать «в борьбе за ЭТО».

При всем их несовершенстве старые структуры власти еще реальны, еще живучи, они могут и должны сосуществовать, взаимодействовать с властью новых Советов, пусть даже и трижды несогласных с их соседством.

Во Львове это особенно зримо: обком партии и облисполком находятся в одном здании, там один подъезд, одна лестница для всех. Обком — на третьем этаже, исполком — на втором. Всего лишь тридцать три ступени вверх и вниз. Неужели так трудно пройти по ним навстречу друг другу?

Митинг протеста у здания обкома партии. **Фото Владимира САКВУКА**





ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ГРАНИЦ

Мария ДМИТРИЕВА
Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

Прут — река пограничная. Сколько лет разделяла она две соседние, или, как говорили до недавнего времени, братские, страны!

Но все течет, все изменяется. Течет река Прут, меняется жизнь на ее берегах. Показушное братство бывших лидеров, разделивших реку Прут на деле «железным занавесом», ушло в прошлое. Сегодня людям на берегах не нужна «граница на замке» — сегодня здесь прошел день открытых границ! После полудня духовенство совершило богослужение, как бы открыв этим нравственным актом дорогу к соседям. И двинулся народ по мосту через Прут, двинулся в буквальном смысле «до зубов» вооруженный улыбками, цветами и угощением для друзей с другого берега. Тут же, на берегу, преломили хлеб, тут же пели такие похожие песни, плясали один общий танец. «Мост цветов на реке Прут» — назвали этот праздник его устроители, в числе которых объединились и члены правительств, и местное начальство, и неформалы, и пограничники, а главное, два народа. Так что теперь берега Прута соединены еще одним мостом. Прочно.

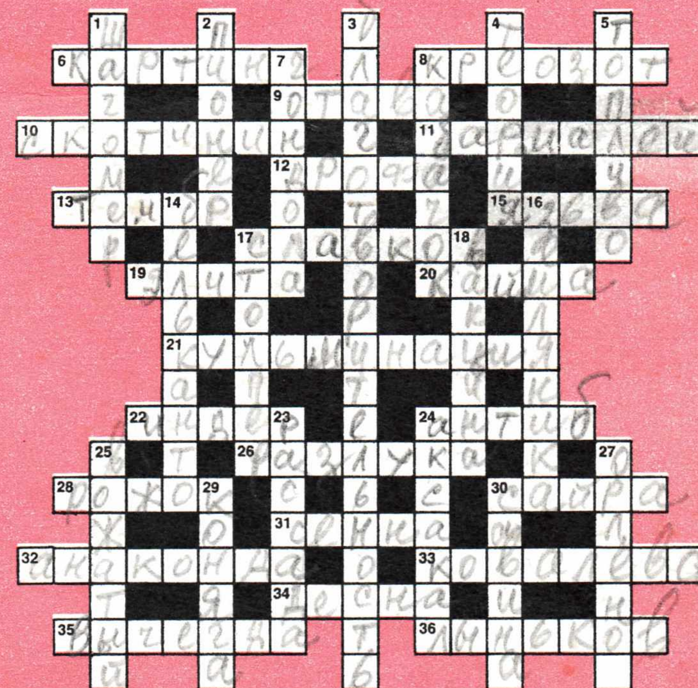






ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Спортивные гонки на малолитражных автомобилях. 8. Маслянистая жидкость, применяемая для предотвращения гниения изделий из древесины. 9. Отросшая после сенокоса трава. 10. Действующее лицо в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 11. Сказка в стихах К. И. Чуковского. 12. Степная птица, занесенная в Красную книгу СССР. 13. Характерная окраска звука инструмента, голоса. 15. Приток Вишеры. 17. Город в Чехии. 19. Лучшие растения, животные, пригодные для разведения. 20. Цветная полоса по краю ткани. 21. Точка высшего подъема, развития. 22. Соленое озеро на северо-западе Казахстана. 24. Курорт во Франции в пределах Лазурного берега. 26. Романс А. Л. Гурилева. 28. Русский народный духовой инструмент. 30. Промысловая рыба на Дальнем Востоке. 31. Лекарственное растение. 32. Змея семейства удавов, обитающая в Южной Америке. 33. Собирательница и исполнительница русских народных песен, солистка Всесоюзного радио в прошлом. 34. Мышечная ткань, покрывающая корни зубов. 35. Приток Северной Двины. 36. Народный писатель Белоруссии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для измерения пройденного пешком расстояния. 2. Советский ежемесячный журнал для школьников. 3. Материальная помощь нуждающимся людям. 4. Система основных идей в определенной области знания. 5. Горючее вещество для получения энергии. 7. Кабина аэростата. 8. Разновидность тыквы. 14. Вокальный стиль, отличающийся певучестью. 16. Действующее лицо в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 17. Режиссер и драматург кино, народный артист СССР. 18. Препарат для предохранительных лечебных прививок. 23. Молодые растения, выращиваемые в парниках для пересадки в открытый грунт. 24. Почтенный человек в Средней Азии и на Кавказе. 25. Руководитель пионерской дружины, отряда. 27. Песня о комсомольце композитора В. А. Белого. 29. «Сказка» М. Е. Салтыкова-Щедрина. 30. Актриса, одна из организаторов и председатель Русского театрального общества.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Скерцо. 10. Оленин. 11. Приоритет. 12. «Калистрат». 14. Стремнина. 17. «Первороссийск». 20. Радикал. 21. Талантливость. 26. «Гэсэриада». 28. Краснотал. 31. Иммунитет. 32. Дарвин. 33. Конкур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исток. 2. Гегель. 3. Сопот. 4. Потье. 5. Знание. 6. Анива. 8. «Динамо». 9. Статус. 13. Стегозавр. 15. Москвитин. 16. Горилла. 18. Варна. 19. Иолго. 22. Наджми. 23. Ворота. 24. Эскарп. 25. Шторка. 26. Гладь. 27. Ирина. 29. Сутки. 30. Луара.

Служит здоровью людей во всем мире



Вэллком Фаундейшн Лимитед

Вэллком Фаундейшн – это крупное объединение фармацевтических и химических компаний с центром в Великобритании, которое занимается исследованием, развитием, производством и продажей препаратов и услуг здравоохранения. Всемирно известна производственными препаратами высшего качества, фирма не без оснований гордится своими завидными достижениями и тем, что она уже более века способствует укреплению здоровья людей и дорожит своей репутацией.

Медицинское исследование

Во всем мире объединение насчитывает около 18.000 служащих, из которых не менее 19% занимаются исследованиями и развитием. Текущие важные области исследований: сердечно-сосудистые заболевания, противоинфекционная химиотерапия (Вэллком является мировым лидером в антивирусной химиотерапии), заболевания центральной нервной системы, воспалительные заболевания и астма, иммунопрофилактика и иммунотерапия и онкология. Важные достижения появились из-за того, что фирма взяла себе за правило сосредоточить рабочую силу и расходы на избранной исследовательской работе.

Этот подход частично способствовал появлению пяти ученых, связанных с фирмой Вэллком, награжденных Нобелевскими премиями в физиологии и в медицине – достижение, не имеющее равных в любой фармацевтической фирме на исследовательской основе.

Вэллком Диагностикс

Вэллком Диагностикс – это подразделение Вэллком Фаундейшн, занимающееся разработкой и производством медикаментов для быстрой и точной диагностики важнейших современных вирусов и бактерий. Например, фирма активна в диагностике ВИЧ и гепатита и является лидером в области иммуномикробиологии.

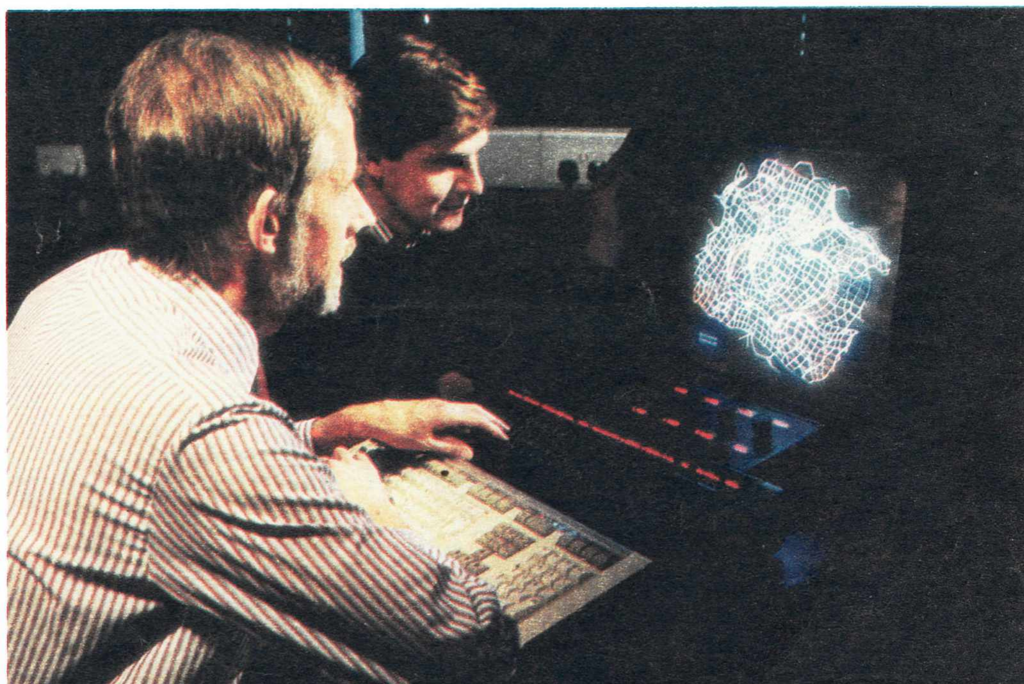
Вэллком Энвайронментал Хелс

Фирма Вэллком также является признанным лидером в борьбе с насекомыми и грызунами через свое подразделение Вэллком Энвайронментал Хелс. Средства фирмы включают инсектицидные аэрозоли, формулированные инсектицидные препараты для борьбы с насекомыми в здравоохранении и гигиене, препараты для защиты в хранилищах пищевых продуктов и средства против грызунов.

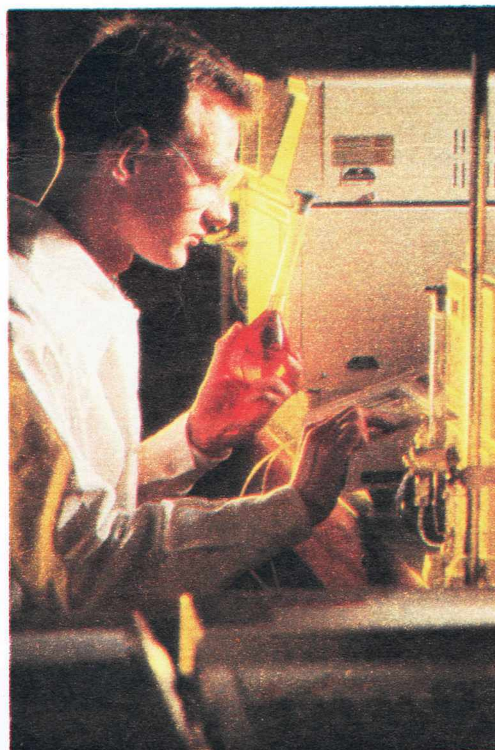
Стремиться к совершенству

Имея контакты в Советском Союзе уже 10 лет, фирма Вэллком стремится укреплять их и в будущем и надеется продолжить список своих достижений, следуя главному принципу основателя, сэра Генри Вэллкома – «стремиться к совершенству».

Приглашаем Вас встретиться с нами на выставке «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-90», 22-30 мая в парке Сокольники, павильон 4А.



Моделирование лекарственных молекул по компьютеру



Анализ по жидкостной хроматографии на повышенном давлении



Автоматическая проверка капсул

За дальнейшей информацией просим обращаться по любому из двух приведенных ниже адресов.

Mr J.P. Apps
The Wellcome Foundation Ltd
Unicorn House
PO Box 129
160 Euston Road
London NW1 2BP
Tel: (071) 387 4477
Telex: 8951486 TBLOID G
Fax: (071) 388 3530

Д-р Б.Е. Борисов
МОСКВА 123610
Краснопресненская наб., 12
Центр международной торговли
19-й этаж, офис 1904
Телекс: 413523 BRIS SU
Телефакс: 230-23-58

40 коп. Индекс 70663